

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2098184753

Дж. М.

Кутзее

Школьные дни Иисуса



*Отрасть зрачка.
Любовь — нет.*

Ч и т а й т е в с е р и и

Дж. М. Кутзее
Детство Иисуса

Дж. М. Кутзее
Сцены из провинциальной жизни

Дж. М. Кутзее
Медленный человек

Дж. М. Кутзее
Школьные дни Иисуса

Р. Флэнаган
Узкая дорога на дальний север

Р. Флэнаган
Смерть речного лоцмана

Т. Моррисон
Возлюбленная

Т. Моррисон
Боже, храни мое дитя

Д. Лессинг
Марта Квест

М. Этвуд
Слепой убийца

Б. Дилан
Хроники

Б. Дилан
Тарантул

Дж. М.
Кутзее

Школьные дни
Иисуса



Москва
2017

УДК 821.111-31(680)
ББК 84(6Южн)-44
К95

J. M. Coetzee
THE SCHOOLDAYS OF JESUS

Copyright © by J. M. Coetzee, 2016.
By arrangement with Peter Lampack Agency,
Inc. 350 Fifth Avenue, Suite 5300 New York, NY 10118 USA.

Перевод с английского *Ш. Мартыновой*

Оформление серии: *К.А. Терина*

Дизайн переплета: *А.Г. Сауков*

В оформлении переплета использована
иллюстрация *М. Мовшиной*

Кутзее, Дж. М.

К95 Школьные дни Иисуса / Дж. М. Кутзее ; [пер. с англ. Ш. Мартыновой]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).

ISBN 978-5-699-95969-3

В «Школьных днях Иисуса» речь пойдет о мальчике Давиде, собирающемся в школу. Он учится общаться с другими людьми, ищет свое место в этом мире. Писатель показывает проблемы взросления: что значит быть человеком, от чего нужно защищаться, что важнее — разум или чувства? Но роман Кутзее не пособие по воспитанию — он зашифровывает в простых житейских ситуациях целый мир. Мир, в котором должен появиться спаситель. Вот только от кого или чего нужно спастись?

УДК 821.111-31(680)

ББК 84(6Южн)-44

© Мартынова Ш., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ISBN 978-5-699-95969-3

Algunos dicen: Nunca segundas partes fueron buenas¹.

«Дон Кихот», II.4

¹ Вторая часть никогда не бывает удачной (*исп.*), пер. Н. Любимова. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Глава 1

Он ожидал, что Эстрелла будет обширнее. На карте она выглядит точкой того же размера, что и Новилла. При этом Новилла — большой город, Эстрелла же — всего лишь расплзшийся провинциальный городок в глуши среди холмов, полей и садов, и по нему петляет ленивая речка.

Удастся ли начать в Эстрелле новую жизнь? С жильем в Новилле можно было полагаться на Центр переселения. Обретут ли здесь они с Инес и мальчиком дом? Центр переселения благодетелен, он — само воплощение благодетельности, безличного сорта, но распространится ли его благодетельность на беглецов от закона?

Хуан, автостопщик, примкнувший к ним по дороге в Эстреллу, предлагает поискать работу где-нибудь на ферме. Фермерам всегда нужны рабочие руки, говорит он. На больших фермах есть даже общежития для сезонных работников. Если не апельсиновый сезон, значит, яблочный, а если не яблочный, так виноградный. Эстрелла и окрестности — настоящий рог изобилия. Он им подскажет, если они желают, ферму, где когда-то работали его друзья.

Они с Инес переглядываются. Прислушаться ли к совету Хуана? Не в деньгах дело — у него, Симона, их по карманам достаточно, запросто хватит и на гостиницу. Но вдруг новилльские власти и впрямь их преследуют, и тогда, вероятно, лучше бы им смешаться с безымянными поденщиками.

— Да, — говорит Инес. — Поехали на ферму. Хватит сидеть в машине. Боливару нужно побегать.

— Мне тоже так кажется, — говорит он. — Однако ферма — это не лагерь отдыха. Ты готова, Инес, целыми днями собирать фрукты на солнцепеке?

— Сколько надо — столько и отработаю, — говорит Инес. — Не меньше и не больше.

— А можно я тоже буду фрукты собирать? — спрашивает мальчик.

— К сожалению, нет, ты — нет, — говорит Хуан. — Это противозаконно — детский труд.

— Я не против потрудиться дитем, — говорит мальчик.

— Не сомневаюсь, что фермер даст тебе пособирать фрукты, — говорит он, Симон. — Но немного. Не столько, чтобы это стало трудом.

Они проезжают всю Эстреллу по главной улице. Хуан показывает им рыночную площадь, административные здания, скромный музей и галерею искусств. Они пересекают реку по мосту, оставляют город позади и двигаются вдоль берега, покуда не приближаются к внушительному дому на склоне холма.

— Это ферма, которую я имел в виду, — говорит Хуан. — Здесь мои друзья нашли работу. *Refugio* — на задах. На вид убогое, но вообще-то довольно уютное.

Refugio — это два сарая из оцинкованного железа, соединенные крытым переходом; сбоку — умывальня. Он ставит машину. Встречать их не выходит никто, если не считать сивого пса на негнущихся лапах, который рычит на них с натянутой цепи, обнажив желтые клыки.

Боливар разворачивается и выскальзывает из машины. Чужую собаку он оглядывает издалека, после чего решает ее пренебречь.

Мальчик забегает в сарай, появляется вновь.

— У них двухэтажные койки! — кричит он. — Можно мне на верхнюю? Пожалуйста!

Из-за дома выходит крупная женщина в красном фартуке поверх свободного хлопкового платья, вперевалку приближается к ним по тропе.

— День добрый, день добрый! — выкликает она. Осматривает груженую машину. — Вы издалека?

— Да, издалека. Скажите, не нужны ли вам дополнительные рабочие руки?

— Дополнительные руки нам нужны всегда. Чем больше рук, тем проще труд — так в книжках пишут, верно?

— Нас всего двое — мы с женой. У нашего друга иные дела. А это наш мальчик, его зовут Давид. А это Боливар. Найдется ли для Боливара место? Он член нашей семьи. Мы без него никуда.

— Боливар — его настоящее имя, — говорит мальчик. — Он немецкая овчарка.

— Боливар. Хорошее имя, — говорит женщина. — Необычное. Мы наверняка найдем для него место — если будет хорошо себя вести, согласится на объедки и не будет ни с кем драться или гонять кур. Работники еще в садах, а я сейчас покажу вам жильё. Слева — господа, справа — дамы. Семейных комнат у нас, увы, нет.

— Я буду где господа, — говорит мальчик. — Симон говорит, что мне можно на верхнюю койку. Симон мне не отец.

— Как пожелаете, молодой человек. Места достаточно. Остальные вернутся...

— Симон — ненастоящий мой отец, а Давид — ненастоящее мое имя. Хотите узнать настоящее?

Женщина бросает на Инес растерянный взгляд, а Инес делает вид, что его не замечает.

— Мы, пока ехали, играли в игру, — вмешивается Симон. — Чтобы время скоротать. Примеряли новые имена.

Женщина пожимает плечами.

— Остальные вернутся скоро, к обеду, и вы сможете познакомиться. Плата — двадцать *reales* в день, для мужчин и женщин одинаково. Рабочее время — от рассвета до заката, в полдень двухчасовой перерыв. На седьмой день — отдых. Таков естественный порядок, таков порядок, которому мы следуем. С трапезами так: мы даем продукты, вы готовите сами. Устраивает? Справитесь? Раньше доводилось собирать фрукты? Нет? Скоро научитесь, это не высокое искусство. Шляпы есть?

Шляпы вам понадобятся, солнце бывает лютое. Что еще добавить? Вы меня всегда найдете в доме. Меня звать Роберта.

— Очень приятно, Роберта. Я — Симон, а это Инес, а это Хуан, наш проводник, я его отвезу обратно в город.

— Добро пожаловать на ферму. Уверена, мы поладим. Хорошо, что у вас свой автомобиль.

— Он доставил нас издалека. Это верный автомобиль. Чего еще желать от автомобиля, кроме верности.

Они разгружают машину, а из садов начинают сбредаться работники. Все знакомятся, им предлагают обед, в том числе и Хуану: домашний хлеб, сыр и оливки, громадные миски с фруктами. Их собратьев — человек двадцать, включая семью с пятью детьми, которых Давид настороженно оценивает со своего места за столом.

Прежде чем отвезти Хуана в Эстреллу, он, Симон, на миг уединяется с Инес.

— Что думаешь? — шепчет он. — Останемся?

— Вроде хорошее место. Я бы осталась, осмотреться. Но нам нужен план. Я не для того приехала в такую даль, чтобы осесть простой работницей.

Они с Инес уже поскитались. Если их преследуют власти, нужно быть осмотрительными. Но преследуют ли их? Стоит ли им бояться преследования? Хватит ли властям возможностей забрасывать своих служащих в удаленные уголки земли ради погони за шестилетним прогульщиком? Действительно ли тревожит власти Новиллы, ходит

ребенок в школу или нет, лишь бы грамоте был обучен? Он, Симон, в этом сомневается. Но вдруг гоняются не за ребенком-прогульщиком, а за парой, которая незаконно объявила себя его родителями и не пускает его в школу? Если на самом деле ищут не ребенка, а их с Инес, не лучше ли залечь на дно, пока преследователи, отчаявшись, не откажутся от погони?

— На неделю, — предлагает он. — Давай побудем простыми работниками одну неделю. А потом подумаем еще.

Он едет в Эстреллу и высаживает Хуана у дома его друзей, которые держат типографию. Вернувшись на ферму, он вместе с Инес и мальчиком обследует окрестности. Они посещают сады, и там их посвящают в таинства секатора и прививочного ножа. Давида влечет прочь от них, он исчезает неведомо куда вместе с другими детьми. Возвращается к ужину, руки и ноги исцарапаны. Они лазали по деревьям, говорит он. Инес хочет намазать ему царапины йодом, но он не дается. Спать укладываются рано, как и все остальные, Давид — на милой ему верхней койке.

Когда наутро приезжает грузовик, они с Инес уже спешно позавтракали. Давид с ними не ел, он все еще трет глаза. Вместе с новыми товарищами они забираются в кузов и прибывают на виноградники; следуя их примеру, они с Инес взваливают на плечи корзины и берутся за работу.

Пока они трудятся, дети предоставлены сами себе. Их в ватаге пятеро, под предводительством самого старшего мальчика по имени Бенги, вы-

сокого, тощего, в густых черных кудрях; они мчат вверх по склону к запруде, что направляет воду на виноградники. Прежде плескавшиеся здесь утки встревоженно взмывают в воздух — все, кроме одной пары, у которой птенцы еще не научились летать; эта пара гонит свой выводок к дальнему берегу. Недостаточно быстро, впрочем: вопящие дети оказываются на том берегу раньше и вынуждают уток плыть обратно к середине запруды. Бенги принимается швырять камни, дети помладше берут с него пример. Птицы не могут улететь, а лишь плавают кругами и громко крикают. Камень попадает в селезень, он красочнее самки. Тот вздымается над водой, падает и плещет сломанным крылом. Бенги издает победный клич. Шквал камней и комьев земли удваивает силу.

Они с Инес с сомнением прислушиваются к шуму, прочим сборщикам все равно.

— Что там происходит, по-твоему? — спрашивает Инес. — Давиду ничего не угрожает?

Он бросает корзину, взбирается на холм, подходит к запруде и видит, как Давид с такой яростью толкает старшего мальчика, что тот спотыкается и едва не падает.

— Прекрати! — слышит он, как кричит Давид.

Мальчик изумленно смотрит на своего обидчика, после чего разворачивается и кидает в уток еще один камень.

Тут Давид бросается в воду, одетый, в ботинках, и принимается плескаться на уток.

— Давид! — зовет его он, Симон. Ребенок не обращает на него внимания.

Внизу, на виноградниках, Инес бросает корзину и бежит. Последний раз она при нем напрягала силы, когда год назад играла в теннис. Бежит она медленно — набрала вес.

Из ниоткуда появляется громадный пес и несется мимо нее, как стрела. Он в мгновение ока сигает в запруду — и вот уж рядом с Давидом. Хватает его зубами за рубашку и тянет к берегу; ребенок бьется и сопротивляется.

Прибегает Инес. Собака укладывается, уши торчком, глаз с нее не сводит, ждет знака, а Давид, мокрый насквозь, ревет и колотит пса кулаками.

— Ненавижу тебя, Боливар! — орет он. — Тот мальчик кидался камнями, Инес! Он хотел убить утку!

Он, Симон, берет буйствующего мальчика на руки.

— Успокойся, успокойся, — говорит он. — Утка не умерла — смотри! — у нее просто шишка будет. Скоро поправится. Так, дети, по-моему, вам лучше уйти отсюда, пусть утки успокоятся и живут дальше. А ты не смей говорить, что ненавидишь Боливара. Ты любишь Боливара, мы все это знаем, а Боливар любит тебя. Он думал, ты тонешь. Он тебя спасти пытался.

Давид сердито вырывается у него из рук.

— Я хотел спасти утку, — говорит он. — Я не просил Боливара ко мне плыть. Боливар — дурак. Глупая собака. Теперь *ты* давай спасай ее, Симон. Давай-давай, спасай!

Он, Симон, снимает ботинки и рубашку.

— Ну, раз ты настаиваешь, я попробую. Хотя, скажу я тебе, для утки спасение может быть не таким, как ты себе думаешь. Возможно, для нее спасение состоит и в том, чтоб люди оставили ее в покое.

Пришли еще несколько сборщиков винограда.

— Не лезь, давай я, — говорит мужчина помоложе.

— Нет. Ты добрый человек, но это мой ребенок затеял. — Он снимает штаны и в одних трусах заходит в бурюю воду. Почти без всплеска рядом возникает пес. — Уйди, Боливар, — бормочет он. — Меня спасти не нужно.

Сгрудившись на берегу, сборщики смотрят, как уже немолодой господин с телосложением уж более не таким, какое было во дни его работы грузчиком, потекает своему ребенку.

Запруда мелкая. Даже в самом глубоком месте вода не поднимается выше его груди. Однако в мягком иле на дне почти не двигаются ноги. Нипочем ему не поймать селезня с перебитым крылом, что плещется на поверхности рваными кругами, не говоря уж об утке-матери, которая теперь уже добралась к дальнему берегу и вместе с выводком укывляла в заросли.

Дело за него делает Боливар. Призраком скользнув мимо, лишь голова торчит из воды, он догоняет раненую птицу, тисками смыкает на бессильном крыле челюсти и волочет птицу к берегу. Поначалу селезень буйно сопротивляется, бьется и плещет, но потом вдруг словно сдается и смиряется с судьбой. Когда он, Симон, вылезает

из воды, утка уже на руках у молодого человека, предложившего сплывать вместо него, а дети с любопытством осматривают птицу.

Хоть и изрядно уже над горизонтом, солнце едва согревает его. Он, дрожа, натягивает одежду.

Бенги — тот, кто бросил камень, из-за которого и возникла сумятица, — гладит совершенно безучастную птицу по голове.

— Пожалей птичку за то, что ты с ней сделал, — говорит молодой человек.

— Мне ее очень жалко, — бормочет Бенги. — А мы можем ей крыло вылечить? Может, дощечку привяжем?

Молодой человек качает головой.

— Это дикое создание, — говорит он. — Не станет бинты носить. Не беда. Эта утка готова умереть. Она приняла это. Посмотри. Посмотри ей в глаза. Она уже мертва.

— Пусть поживет у меня на койке, — говорит Бенги. — Я ее кормить буду, пока она не поправится.

— Отвернись, — говорит молодой человек.

Бенги не понимает.

— Отвернись, — говорит молодой человек.

Он, Симон, шепчет Инес, которая тем временем вытирает мальчика:

— Не дай ему смотреть.

Она вжимает голову мальчика к себе в подол. Он сопротивляется, но она держит крепко.

Молодой человек стискивает утку между колен. Стремительное движение — и все кончено. Голова теперь неловко болтается, пленка затягивает

глаза. Молодой человек вручает тушку в перьях Бенги:

— Иди похорони его, — приказывает он. — Давай.

Инес отпускает мальчика.

— Идите вместе, — говорит ему он, Симон. — Помоги похоронить птицу. Чтобы твой друг все сделал как следует.

Чуть погодя мальчик находит их с Инес на винограднике.

— Ну как, похоронили бедную утку? — спрашивает он.

Мальчик качает головой.

— Мы не смогли вырыть яму. У нас лопаты не было. Бенги спрятал ее в кустах.

— Нехорошо это. Когда день закончу, пойду и сам похороню. Покажешь мне где.

— Зачем он это сделал?

— Зачем молодой человек освободил его от страданий? Я тебе уже объяснил. Потому что утка со сломанным крылом была бы беспомощна. Перестала бы есть. И зачахла бы.

— Нет, зачем Бенги это сделал?

— Я уверен, что это он не со зла. Просто камни кидал, ну и так вышло.

— А детки тоже умрут?

— Конечно, нет. У них есть мама, она о них позаботится.

— Но кто же будет давать им молоко?

— Птицы — они другие, не как мы. Они не пьют молоко. Но вообще молоко дают матери, а не отцы.

— А они найдут себе *padrino*?

— Вряд ли. Не думаю, что у птиц бывают *padrino* — так же, как и молоко. *Padrino* — это человеческая затея.

— Ему не жалко — Бенги. Он сказал, что ему жалко, но на самом деле нет.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что он хотел убить эту утку.

— Я не согласен, мой мальчик. Вряд ли он до конца понимал, что делает. Он просто швырялся камнями, как все мальчишки. В глубине души он не собирался никого убивать. А потом, когда увидел, какое красивое создание эта птица, когда увидел, какой ужас натворил, он раскаялся и ему стало жалко.

— Ему не стало жалко. Он мне сам сказал.

— Если сейчас не жалко, значит, скоро будет. Его совесть не даст ему покоя. Так люди устроены. Если мы делаем плохое, радости нам от этого никакой. Нам совесть не дает.

— Да он сиял! Я видел! Он сиял и швырял камни изо всех сил! Он хотел их всех убить!

— Не знаю, что ты подразумеваешь под сиянием, но даже если он сиял, даже если швырялся камнями, это не доказывает, что в глубине души он хотел убить птиц. Мы не всегда способны предвидеть последствия наших действий — особенно в молодости. Не забывай: он сам предложил выводить птицу со сломанным крылом, поселить ее у себя на койке. Что еще мог он сделать? Отозвать назад брошенные камни? Не получится. Прошрое не переделать. Что сделано, то сделано.

— Он ту птицу не похоронил. Просто бросил в кусты.

— Мне очень жалко, но птица мертва. Мы не можем ее оживить. Мы с тобой сходим ее похоронить, как только дневная работа закончится.

— Я хотел ее поцеловать, а Бенги мне не дал. Сказал, что она грязная. Но я ее все равно поцеловал. Залез в кусты и поцеловал.

— Это хорошо, я рад. Для нее это будет важно — что кто-то ее любил и поцеловал после того, как она умерла. И важно будет для нее, что ее как следует похоронили.

— Хорони сам, если хочешь. Я не буду.

— Ладно, я сам. А если мы придем завтра поутру и увидим, что могила пуста, а вся утиная семейка плавает в запруде — папа, мама и дети, все на месте, — мы поймем, что целование действует, что целованием можно воскрешать из мертвых. А если не увидим, если не увидим утиную семейку...

— Я не хочу, чтобы они вернулись. Если они вернуться, Бенги просто возьмет и опять закидает их камнями. Ему не жалко. Он просто притворяется. Я знаю, что он притворяется, а ты мне не веришь. Ты мне никогда не веришь.

Ни лопаты, ни кирки не находится, и он занимается в грузовике монтировку. Мальчик ведет его туда, где в кустах лежит дохлая утка. Перья уже потускнели, а до глаз добрались муравьи. Он вырубает монтировкой ямку в каменистой почве. Она недостаточно глубока, и нельзя считать это достойными похоронами, однако он опускает птицу в ямку и кое-как присыпает ее. Жилистая

лапка все равно торчит наружу. Он собирает камни и складывает их на могилу.

— Ну вот, — говорит он мальчику. — Как сумел.

Когда они наутро приходят навестить это место, камни разбросаны, а утки нет. Повсюду перья. Они ищут, но ничего не находят — кроме головы с пустыми глазницами и одной лапы.

— Жалко, — говорит он и понуро уходит к остальной бригаде.

Глава 2

Через два дня сбор винограда завершается, грузовик увозит последние корзины.

— Кто будет есть весь этот виноград? — интересуется Давид.

— Его не будут есть. Его отожмут на виноградном прессе, а сок превратят в вино.

— Мне не нравится вино, — говорит Давид. — Оно кислое.

— Вкус к вину — дело наживное. Пока мы молодые, нам оно не нравится, а когда становимся старше, у нас появляется к нему вкус.

— У меня к нему вкус не появится никогда.

— Это ты сейчас так говоришь. Поживем — увидим.

Обобрав виноградники подчистую, они переходят в оливковую рощу, где раскладывают сетки и с помощью длинных крючьев снимают оливки. Работа эта тяжелее, чем сбор винограда. Он ждет полуденных перерывов, жар долгих дней выносить трудно, он часто отвлекается, чтобы попить или просто восстановить силы. У него почти не укладывается в голове, что всего несколько месяцев назад он работал в порту грузчиком, таскал тяжести и при этом едва ли потел. Спина и руки

утратили былую силу, сердце бьется лениво, до-
нимает боль в сломанном ребре.

От Инес, непривычной к физическому труду, он ждал жалоб и ворчания. Но нет: она работает бок о бок с ним дни напролет, безрадостно, однако и бес-
словесно. Ей не нужно напоминать, что это она ре-
шила сбежать из Новиллы и пожить по-цыгански. Что ж, вот она и узнала, как живут цыгане: горба-
тятся на чужих полях от рассвета до заката, всё ради куска хлеба и нескольких реалов в кармане.

Ну хоть мальчику все нравится — мальчику, ради которого они сбежали из города. После крат-
кой высокомерной отчужденности он вновь при-
бился к Бенги и его ватаге — даже будто бы стал
вожаком. Ибо именно он, а не Бенги, раздает те-
перь приказы, а Бенги и все остальные смиренно
их выполняют.

У Бенги три младшие сестры. Они носят оди-
наковые ситцевые платья, собирают волосы в
одинаковые хвостики с одинаковыми красными
бантами и играют во все игры мальчишек. У себя
в новилльской школе Давид отказывался иметь
дела с девочками. «Вечно они шепчутся и хихи-
кают, — говорил он Инес. — Глупые». Теперь же
он впервые играет с девочками и глупыми их, по-
хоже, совсем не считает. Он изобрел одну игру, в
которой нужно забраться на крышу сарая рядом
с оливковой рощей и прыгать оттуда на удачно
расположенную кучу песка. Иногда он и младшая
сестра прыгают, взявшись за руки, скатываются
с песочной кучи клубком рук и ног и встают на
ноги, фыркая от смеха.

Младшая девочка, чье имя Флорита, ходит за Давидом тенью, куда бы тот ни направлялся; тот никак ее не отталкивает.

Во время полуденного перерыва одна сборщица оливок подначивает ее.

— Ты завела себе *novio*, как я погляжу, — говорит она. Флорита сумрачно смотрит на нее. Возможно, не знает такого слова. — Как его звать? Как зовут твоего *novio*? — Флорита вспыхивает и убегает.

Когда девчонки прыгают с сарая, платья у них раскрываются, как лепестки цветов, и открывают взорам одинаковые розовые трусики.

Винограда после сбора все еще навалом, целые корзины. Дети набивают себе рты, а руки и лица у них липкие от сладкого сока. У всех, кроме Давида, который ест по одной виноградине, выплевывает косточки и тщательно моет потом руки.

— Остальные могли бы поучиться у него манерам, — отмечает Инес. «У моего мальчика, — хочется ей добавить, и он, Симон, это видит, — у моего умного, воспитанного мальчика. Совсем он не такой, как эти голодранцы».

— Он растет быстро, — соглашается он. — Возможно, слишком быстро. Мне его поведение иногда видится... — он медлит с этим словом, — слишком *авторитетным*, чересчур властным. Ну или мне так кажется.

— Он мальчик. У него сильный характер.

Цыганская жизнь Инес, может, и не подходит, и ему она не подходит тоже, а вот мальчику нравится, без сомнения. Он, Симон, никогда не ви-

дел его таким подвижным, таким заводным. Он просыпается рано, ест жадно, а потом носится с друзьями весь день. Инес пытается навязать ему кепку, но кепка вскоре теряется и не находится. Когда-то он был бледен, а сейчас загорелый, как желудь.

Не с малюткой Флоритой он ближе всех, а с Майте, ее сестрой. Майте семь лет, она старше его на несколько месяцев. Из трех сестер она самая хорошенькая — и самая заботливая по натуре.

Однажды вечером мальчик исповедуется Инес.

— Майте попросила меня показать ей мой пенис.

— И? — говорит Инес.

— Она говорит, что, если я покажу ей свой пенис, она покажет мне свою штучку.

— Тебе надо больше играть с Бенги, — говорит Инес. — Не стоит все время играть с девочками.

— Мы не играли, мы разговаривали. Она говорит, что, если я засуну пенис в ее штучку, у нее будет ребенок. Это правда?

— Нет, неправда, — говорит Инес. — Вымыл бы кто-нибудь этой девочке рот с мылом.

— Она говорит, что Роберто ходит к женщинам в комнату, когда они спят, и засовывает пенис в штучку ее маме.

Инес бросает на него, Симона, беспомощный взгляд.

— То, что делают взрослые, иногда кажется странным, — вмешивается он. — Когда вырастешь — поймешь лучше.

— Майте говорит, что мама заставляет его надевать воздушный шарик себе на пенис, чтобы не было ребенка.

— Да, все правильно, некоторые люди так делают.

— А ты надеваешь на пенис шарик, Симон?

Инес встает и выходит.

— Я? Шарик? Нет, конечно, нет.

— Тогда, раз ты не надеваешь, у Инес будет ребенок?

— Мой мальчик, ты рассуждаешь о половом акте, а половой акт — дело людей женатых. Мы с Инес — не женаты.

— Но ты же можешь делать половой акт, даже если вы не женаты?

— Да, можно совершить половой акт, если ты не женат. Но иметь детей, когда не женат, — скверная штука. В целом.

— Почему? Потому что такие дети — *huérfano*?

— Нет, ребенок, родившийся у незамужней женщины, — не *huérfano*. *Huérfano* — это нечто другое. Где ты нашел это слово?

— В Пунта-Аренас. Многие мальчики в Пунта-Аренас — *huérfanos*. А я сам *huérfano*?

— Конечно, нет. У тебя есть мама. Инес — твоя мама. А *huérfano* — это ребенок, у которого вообще никаких родителей.

— Откуда берутся *huérfanos*, если у них нет родителей?

— *Huérfano* — это ребенок, у которого родители умерли и оставили его одного на белом свете. Или иногда у матери нет денег на еду, и она отда-

ет ребенка другим людям, чтобы они за ним присматривали. За ним или за ней. Вот так получается *huérfano*. Ты — не *huérfano*. У тебя есть Инес. У тебя есть я.

— Но вы с Инес — не мои настоящие родители, значит, я *huérfano*.

— Давид, ты прибыл на корабле, как и я, как и все люди вокруг нас — те, кому не выпала удача здесь родиться. Скорее всего, Бенги, его брат и сестры тоже приплыли на кораблях. Когда переплываешь океан на корабле, все воспоминания смываются, и ты начинаешь совершенно новую жизнь. Вот так все устроено. Никакого «прежде» нету. Никакой истории. Корабль причаливает в порту, мыходим по трапу — и оказываемся здесь и сейчас. Отсюда начинается время. Ход часов. Ты — не *huérfano*. Бенги — не *huérfano*.

— Бенги родился в Новилле. Он мне сам сказал. Он никогда не плавал на корабле.

— Хорошо, если Бенги, его брат и сестры родились здесь, тогда их история тоже начинается здесь, и они не *huérfanos*.

— Я помню время до того, как оказался на корабле.

— Ты мне уже говорил. Многие люди говорят, будто помнят жизнь, какая была у них до того, как они пересекли океан. Но с такими воспоминаниями есть неувязка, а поскольку ты умный, я думаю, ты понимаешь, в чем она состоит. Неувязка состоит в том, что нам никак не определить, настоящие ли это воспоминания или же придуманные. Потому что иногда придуманные воспо-

минания кажутся такими же настоящими, как настоящие, особенно когда нам *хочется*, чтобы они такими были. Например, кто-то желал бы быть царем или благородным господином до того, как пересек океан, и так сильно он этого хочет, что убеждает себя, будто он и впрямь был царем или господином. Однако такая память, скорее всего, ненастоящая. Почему? Потому что цари — штука довольно редкая. Лишь один человек на миллион становится царем. И потому, если кто-то помнит себя царем, это, скорее всего, выдумка, а сам человек забыл, что все придумал. То же и с другими воспоминаниями. И никак не проверить, настоящее у человека воспоминание или ложное.

— Но я разве родился у Инес из живота?

— Ты вынуждаешь меня повторяться. Я могу сказать либо «Да, ты родился у Инес из живота», либо «Нет, ты родился не у Инес из живота». Ни тот, ни другой ответ не приблизит нас к истине. Почему? Потому что, как и у всех, кто прибыл на корабле, ты не можешь этого вспомнить — и Инес не может. А раз не можешь вспомнить, значит, и ей, и тебе, и всем нам остается лишь придумывать истории. Например, я могу тебе сказать, что в свой последний день прежней жизни я стоял в огромной толпе, ждущей отправления, такой громадной, что пришлось вызвать по телефону капитанов и лоцманов в отставку, чтобы они прибыли в порт помогать. И в той толпе, мог бы я сказать, я увидел тебя и твою маму — собственными глазами. Твоя мать держала тебя за руку, у нее был встревоженный вид, она не понимала,

куда податься. И тут, мог бы я сказать, я потерял вас обоих из виду, в толпе. Когда наконец пришла моя очередь взойти на борт, я увидел тебя — одного, ты цеплялся за леер и кричал: «Мама, мама, ты где?» Я подошел, взял тебя за руку и сказал: «Пойдем, дружок, я тебе помогу найти маму». Вот так мы и познакомились... Вот такую историю я мог бы рассказать — как впервые увидел тебя и твою маму — как запомнил.

— Но это правда? Это настоящая история?

— Правда ли это? Не знаю. Такое чувство, что да. Чем больше я ее себе рассказываю, тем правдивее она кажется. Ты кажешься правдой — ты цепляешься за леер так крепко, что приходится отлеплять тебе пальцы; толпа в порту кажется правдой — сотни тысяч людей, все потеряны, как ты, как я, с пустыми руками и тревожными глазами. Автобус кажется правдой — автобус, который доставил старых капитанов и лоцманов в порт, на них были темно-синие мундиры, которые они вынули из сундуков у себя на чердаках, от них все еще пахло мазутом. Кажется правдой от начала и до конца. Но, быть может, все это кажется правдой, потому что я очень часто себе это повторял. У тебя есть чувство, что это правда? Ты помнишь, как тебя разлучили с мамой?

— Нет.

— Нет, конечно, не помнишь. Но ты не помнишь, потому что этого не случилось или потому что забыл? Мы никогда не узнаем наверняка. Так все устроено. С этим нам приходится жить.

— Думаю, я — *huérfano*.

— А я думаю, ты просто так говоришь, потому что это кажется романтическим — быть на белом свете одному, без родителей. Ну так позволь тебе сообщить, что Инес для тебя — лучшая мама на свете, а раз у тебя лучшая мама на свете, ты точно не *huérfano*.

— Если у Инес родится ребенок, он мне будет братом?

— Братом или сестрой. Но у Инес не будет ребенка, потому что мы с Инес не женаты.

— Если я засуну свой пенис в штучку к Майте и у нее родится ребенок, он будет *huérfano*?

— Нет. У Майте не родится никакой ребенок. Вы с ней еще маленькие, чтобы рожать детей, — и слишком маленькие, чтобы понять, почему взрослые люди женятся и совершают половой акт. Взрослые люди женятся, потому что у них друг к другу страстные чувства, а у вас с Майте таких нету. Вы с ней не можете испытывать страсть, потому что еще слишком маленькие. Поверь на слово и не проси меня объяснить, почему так. Страсть невозможно объяснить, ее можно лишь пережить. А точнее, ее приходится испытать внутри прежде, чем она станет понятна снаружи. Важно вот что: вам с Майте нельзя совершить половой акт, потому что половой акт без страсти бессмыслен.

— Это будет ужасно?

— Нет, не ужасно, просто неумно делать такие вещи — неумно и распущенно. Еще вопросы?

— Майте говорит, что хочет за меня замуж.

— А ты? Ты хочешь жениться на Майте?

— Нет. Я никогда не женюсь.

— Ну, ты еще успеешь передумать, когда придут страсти.

— А вы с Инес собираетесь жениться?

Он не отвечает. Мальчик трусит к двери.

— Инес! — кричит он. — Вы с Симоном собираетесь жениться?

— *Цыц!* — сердито откликается Инес. Она возвращается в общежитие. — Хватит болтать. Тебе пора в постель.

— У тебя есть страсти, Инес? — спрашивает мальчик.

— Тебя это не касается, — отвечает Инес.

— Почему ты никогда не хочешь со мной разговаривать? — спрашивает мальчик. — Симон вот со мной разговаривает.

— Я с тобой разговариваю, — говорит Инес. — Но не о личном. А теперь — чистить зубы.

— Не будет у меня страстей, — объявляет мальчик.

— Это ты сейчас так говоришь, — отзывается он, Симон. — А когда вырастешь — увидишь, что у страстей своя жизнь. А теперь быстренько чисти зубы, и, может, мама почитает тебе на ночь.

Глава 3

Роберта, которую они в первый день приняли за хозяйку фермы, оказалась таким же нанятым работником, как они, — ее взяли присматривать за другими работниками, снабжать их едой и платить им за труд. Она дружелюбный человек, ее здесь все любят. Ей интересна личная жизнь работников, она оделяет детишек маленькими подарками: сладостями, печеньем, лимонадом. Они узнают, что фермой владеют три сестры, которых в округе знают просто как Трех Сестер, они уже пожилые, бездетные и время свое проводят либо на ферме, либо в Эстрелле.

У Роберты происходит долгая беседа с Инес.

— Как же вы собираетесь учить сыночка? — спрашивает она. — Он, я вижу, умный малый. Жалко будет, если у него все сложится, как у Бенги, — этот школы толком и не видел. Это не значит, что Бенги плохой. Он славный мальчик, но без всякого будущего. Будет таким же работягой на ферме, как и его родители, а что это за жизнь — по большому-то счету?

— Давид ходил в школу в Новилле, — говорит Инес. — Неудачно. У него не было хороших учителей. Он от природы умный ребенок. Занятия в

классе оказались для него слишком медленными. Пришлось его забрать и обучать на дому. Боюсь, если опять сдадим его в школу, выйдет то же самое.

Рассказ Инес об их делах со школьной системой в Новилле не вполне правдив. О неурядицах с властями в Новилле они решили помалкивать, но Инес, очевидно, считает допустимым доверять старшей женщине, и он, Симон, не вмешивается.

— А он хочет в школу? — спрашивает Роберта.

— Нет, не хочет — после того, что он пережил в Новилле. Здесь, на ферме, он совершенно счастлив. Ему нравится свобода.

— Для ребенка это чудесная жизнь, но сбор урожая вообще-то заканчивается. И носиться по ферме дикарем — не подготовка к будущему. Вы о частном педагоге не думали? Или о какой-нибудь академии? Академия — это не обычная школа. Может, такому ребенку, как ваш, академия подойдет.

Инес молчит. Он, Симон, заговаривает — впервые.

— Частный преподаватель нам не по карману. А академии... В Новилле их нет. По крайней мере никто о них не говорил. А что такое академия? Если это просто затейливое наименование школы для беспокойных детей, для детей себе на уме, нам такое не нужно — правда, Инес?

Инес качает головой.

— В Эстрелле две Академии, — говорит Роберта. — Они вовсе не для беспокойных детей.

Одна — Пения, а вторая — Танца. А есть еще Атомная школа — но она для детей постарше.

— Давиду нравится петь. У него хороший голос. Но что происходит в этих академиях помимо пения и танцев? Там обычные уроки бывают? А таких маленьких детей туда берут?

— Я не специалист в образовании, Инес. Все семьи, с которыми я знакома в Эстрелле, отдают детей в нормальные школы. Но, уверена, Академии учат основным навыкам — ну, чтению, письму и всякому такому. Могу спросить у сестер, если хотите.

— А что это за Атомная школа? — спрашивает он. — Чему там учат?

— Они учат про атомы. Смотрят на атомы в микроскоп, чем они, атомы, там занимаются. А больше я ничего не знаю.

Они с Инес переглядываются.

— Мы будем иметь эти академии в виду, — говорит он. — А пока мы совершенно счастливы жить здесь, на ферме. Как думаете, сможем мы остаться здесь после того, как сбор урожая закончится, если предложим сестрам небольшую плату за постой? Иначе нам придется связываться с морокой регистрации в *Asistencia*, искать работу и жильё, а мы к этому не готовы пока — правда, Инес?

Инес качает головой.

— Давайте я поговорю с сестрами, — говорит Роберта. — С сеньорой Консуэло. Она самая практичная. Если скажет, что можно здесь остаться, вам, наверное, стоит связаться с сеньором

Роблесом. Он дает частные уроки, недорого. Из любви работает.

— Кто такой сеньор Роблес?

— Окружной инженер водоснабжения. Живет в нескольких километрах дальше по долине.

— С чего бы инженеру водоснабжения давать частные уроки?

— Он много чем еще занят помимо инженерного дела. У него уйма талантов. Пишет историю освоения этой долины.

— Историю. Я не знал, что у таких мест, как Эстрелла, есть история. Если дадите номер телефона, я свяжусь с сеньором Роблесом. А вы не забудете поговорить с сеньорой Консуэло?

— Не забуду. Не сомневаюсь, она не будет против, если вы останетесь, пока не подыщете что-нибудь постоянное. Вам наверняка хочется перебраться в собственный дом.

— Не очень. Нас устраивает, как все складывается. Для нас жить по-цыгански — все еще приключение, правда, Инес?

Инес кивает.

— И ребенок доволен. Он учится жизни, даже если не ходит в школу. Есть ли на ферме еще какая-нибудь работа, чтобы я мог воздать вам за доброту?

— Разумеется. Работа здесь всегда найдется. — Роберта задумчиво умолкает. — Вот еще что. Я уверена, вы знаете, что в этом году перепись населения. Переписчики — люди очень тщательные. Они приезжают на каждую ферму, даже на самые дальние. Если вы пытаетесь уклониться от пере-

писи — а я этого не утверждаю, — вам не удастся, если здесь останетесь.

— Мы не пытаемся ни от чего уклониться, — говорит он, Симон. — Мы не беглецы. Мы всего лишь желаем нашему ребенку лучшего.

На следующий день после обеда к ферме подъезжает грузовик, и с него спрыгивает тучный, краснолицый мужчина. Роберта встречает его и ведет в общежитие.

— Сеньор Симон, сеньора Инес, это сеньор Роблес. Я вас оставлю, поговорите о своих делах.

Разговор у них краток. Сеньор Роблес, как он сам сообщает им, любит детей и хорошо с ними ладит. Он с радостью познакомит юного Давида, которого так хвалила сеньора Роберта, с основами математики. Если они согласятся, он будет заезжать на ферму дважды в неделю — давать мальчику урок. Никакой платы ни в каком виде он не примет. Общение с юным живым умом будет ему достаточной наградой. Сам он, увы, бездетен. Его жена ушла в мир иной, и он один в этом мире. Если среди детей сборщиков кто-то еще пожелает примкнуть к урокам с Давидом, сеньор Роблес будет рад. Родители — сеньора Инес и сеньор Симон — тоже, конечно, могут присутствовать на занятиях, само собой.

— А вам не скучно будет преподавать азы математики? — спрашивает он, Симон, родитель.

— Разумеется, нет, — говорит сеньор Роблес. — Для истинного математика основы науки — самая

интересная часть, и обучение юных умов основам — самое дерзкое начинание; дерзкое и благодарное.

Они с Инес рассказывают о предложении сеньора Роблеса нескольким сборщикам на ферме, но когда подходит время первого занятия, присутствуют лишь Давид — единственный ученик, и он, Симон, — единственный родитель.

— Мы знаем, что такое «один», — говорит сеньор Роблес, начиная урок, — а вот что такое «два»? Таков интересующий нас сегодня вопрос.

День стоит теплый и безветренный. Они сидят под тенистым деревом у общежития, за столом — сеньор Роблес напротив Давида, он, Симон, тоже сбоку, скромно, с Боливаром у ног.

Сеньор Роблес достает из нагрудного кармана две авторучки и кладет их рядом на столе. Из другого кармана извлекает маленькую склянку, вытрясает из нее две белые пилюли и кладет их рядом с авторучками.

— Что общего между этими... — удерживает ладонь над авторучками, — и этими... — ладонь над пилюлями, — молодой человек?

Мальчик молчит.

— Не обращая внимания на их отношение к письму или медицине, рассматривая их просто как предметы — нет ли некоего качества, которое и у этого, — он отодвигает авторучки слегка вправо, — и у этого, — отодвигает пилюли чуть левее, — общее? Какого-нибудь качества, которое делает их похожими?

— Это две авторучки и две пилюли, — говорит мальчик.

— Хорошо! — говорит сеньор Роблес.

— Две пилюли одинаковые, а две авторучки — нет, потому что одна синяя, а вторая красная.

— Но их по-прежнему две, правда? Так что же за качество у пилюль и авторучек общее?

— Что их по две. Две авторучки и две пилюли. Но это разные две.

Сеньор Роблес бросает на него, Симона, раздраженный взгляд. Достает из кармана еще одну ручку и одну пилюлю. Теперь на столе три авторучки и три пилюли.

— А что общего у этих... — ладонь над авторучками, — ...и у этих? — ладонь над пилюлями.

— Что их по три, — говорит мальчик. Но это не одни и те же три, потому что авторучки — разные.

Сеньор Роблес не обращает внимания на это уточнение.

— Но им не обязательно быть авторучками или пилюлями, верно? Я мог бы запросто заменить авторучки апельсинами, а пилюли — яблоками, ответ вышел бы тот же: их по три. Три слева — апельсины — имеют общее свойство с тремя справа — с яблоками. В каждом наборе — по три. Итак, что мы узнали? — И, не успевает мальчик ответить, сообщает ему, что они узнали: — Мы узнали, что три не зависит от того, что входит в набор, будь то яблоки, апельсины, авторучки или пилюли. Три — свойство, которое для всех этих наборов общее. И, — тут он убирает одну авторучку и одну пилюлю, — три — не то же самое,

что два, потому что, — он раскрывает ладонь, а в ней — исчезнувшая авторучка, исчезнувшая пилюля, — я вычел по одному предмету из каждого набора. Так что же мы узнали? Мы узнали о том, что такое «два» и что такое «три», и в точности так же можем разобраться, что такое «четыре», «пять» и так далее до сотни, или до тысячи, или до миллиона. Мы поняли кое-что о числах, а именно: любое число — наименование свойства, общего для определенных наборов предметов в мире.

— До миллиона миллионов, — говорит мальчик.

— До миллиона миллионов — и далее, — соглашается сеньор Роблес.

— До звезд, — говорит мальчик.

— До числа звезд, — соглашается сеньор Роблес, — которое вполне может быть бесконечным, этого мы пока не знаем наверняка. Итак, чего мы достигли на первом занятии? Мы выяснили, что такое «число», а также нашли способ счета — один, два, три и так далее — способ переходить от одного числа к другому в определенном порядке. Давай подытожим. Скажи мне, Давид, что такое «два»?

— Два — это когда на столе две авторучки, или две пилюли, или два яблока, или два апельсина.

— Да, хорошо, почти точно, но не вполне. Два — это их общее свойство, и яблок, и апельсинов, и любых других предметов.

— Но они должны быть твердые, — говорит мальчик. — Мягкими они быть не могут.

— Это могут быть и твердые, и мягкие предметы. Любые предметы на свете годятся, без всяких ограничений, если их больше одного. Это важно. Любой предмет на свете подчиняется арифметике. Более того — любой предмет во вселенной.

— Но не вода. Или рвота.

— Вода — не предмет. стакан воды — предмет, но вода сама по себе — нет. Можно сказать иначе: вода — несчетная. Как воздух или земля. Воздух и земля тоже несчетные. Но можно посчитать ведра земли или канистры воздуха.

— Это хорошо? — спрашивает мальчик.

Сеньор Роблес возвращает авторучки в карман, складывает пилюли обратно в склянку и обращается к нему, Симону.

— В следующий раз приеду в четверг, — говорит он. — Перейдем к сложению и вычитанию — как нам объединить наборы, чтобы получилась сумма, или убрать составляющие набор части и посчитать разницу. А пока пусть ваш сын поупражняется в счете.

— Я уже умею считать, — говорит мальчик. — Я могу досчитать до миллиона. Я сам научился.

Сеньор Роблес встает из-за стола.

— Кто угодно может досчитать до миллиона, — говорит он. — Важно понимать, что такое числа на самом деле. Чтобы иметь крепкую основу знания.

— Вы уверены, что не останетесь? — спрашивает он, Симон. — Инес заваривает чай.

— Увы, у меня нет времени, — говорит сеньор Роблес и уезжает в облаке пыли.

Инес возникает с чайным подносом.

— Уехал? — говорит она. — Я думала, останется на чай. Очень короткий урок получился. Как все прошло?

— Он в следующий раз будет в четверг, — говорит мальчик. — Займемся четырьмя. Сегодня занимались двумя и тремя.

— Не вечно ли вам в таком случае заниматься, если вы разбираете по одному числу за раз? — говорит Инес. — Побыстрее нет способа?

— Сеньор Роблес хочет, чтобы основа знания была крепкой, — говорит он, Симон. — Когда основы окажутся крепко заложены, мы будем готовы возвести на них чертоги нашего математического знания.

— Что такое «чертоги»?

— Чертоги — это такое здание. Эти конкретные чертоги будут, как мне кажется, иметь вид башни, тянущейся высоко в небо. Постройка башен требует времени. Нужно запастись терпением.

— Ему достаточно научиться складывать, — говорит Инес, — чтобы не быть в жизни ущербным. Зачем ему быть математиком?

Молчание.

— Что скажешь, Давид? — говорит он, Симон. — Хочешь дальше заниматься? Ты узнал что-то новое?

— Я уже знаю про четыре, — говорит мальчик. — Я знаю все числа. Я говорил, но вы не слушаете.

— Думаю, надо отказаться от занятий, — говорит Инес. — Пустая трата времени. Поищем еще

кого-нибудь, чтоб учил, кого-то, кто может научить складывать.

Он сообщает эту весть Роберте («Какая жалость! — говорит она. — Но родители — вы, вам виднее») и звонит сеньору Роблесу.

— Мы вам бесконечно признательны, сеньор Роблес, за вашу щедрость и терпение, но мы с Инес думаем, что мальчику нужно что-то попроще, что-нибудь более практическое.

— Математика не проста, — говорит сеньор Роблес.

— Математика не проста, согласен, но мы и не собирались делать из Давида математика. Мы просто не хотим, чтобы ему пришлось разбираться с последствиями того, что он не ходил в школу. Мы хотим, чтобы он уверенно обращался с числами.

— Сеньор Симон, я видел вашего сына лишь единожды, я не психолог, у меня инженерное образование, но кое-что я вам все же сказать могу. Подозреваю, что юный Давид, возможно, страдает от того, что называется расстройством познавательной функции. Это означает, что ему не хватает определенной умственной способности, в данном случае — способности классифицировать предметы на основании их сходства. Эта способность дается нам, обычным людям, так естественно, что мы едва ее замечаем. Это способность видеть предметы как составляющие классов, и она делает возможным сам язык, речь. Нам нет нужды видеть каждое дерево как отдельную сущность, как это устроено у животных, — мы спо-

собны рассматривать дерево как представителя класса деревьев. Поэтому же возможна и математика.

Почему я заговорил о классификации? Потому, что в некоторых редких случаях эта способность слаба — или ее нет. Таким людям всегда трудно с математикой и языком абстракций в целом. Подозреваю, что ваш сын — как раз такой человек.

— Зачем вы мне все это говорите, сеньор Роблес?

— Затем, что, по моему мнению, вы обязаны разобраться в этом как следует — ради вашего мальчика, после чего, вероятно, найти ему подходящую форму обучения. Я бы настоятельно советовал вам назначить встречу с психологом — желательно со специалистом по расстройствам познавательной функции. Департамент образования сможет предоставить вам необходимые сведения.

— Подобрать подходящую форму образования — в каком смысле?

— Попросту говоря, я вот о чем: если ему так и не удастся разобраться с числами и абстрактными понятиями, ему, вероятно, лучше будет, к примеру, отправиться в ремесленную школу, где он обучится полезным практическим навыкам — к примеру, слесарному или плотницкому делу. Вот и все. Я взял на заметку, что вы хотите прекратить наши занятия математикой, и с вашим решением согласен. Думаю, оно разумно. Желаю вам, вашей жене и сыну счастливого будущего. Спокойной ночи.

— Я потолковал с сеньором Роблесом, — говорит он Инес. — Я отменил занятия. Он считает, что Давид должен пойти в ремесленную школу и выучиться на слесаря.

— Вот бы сюда этого сеньора Роблеса, я б ему врезала по лицу, — говорит Инес. — Он мне сразу не понравился.

На следующий день он едет в глубь долины к сеньору Роблесу и оставляет у задней двери литр фермерского оливкового масла — с запиской. «Спасибо вам от Давида и его родителей», — гласит записка.

Затем у них с мальчиком происходит серьезный разговор.

— Если мы найдем тебе другого учителя, кого-то, кто выучит тебя простому сложению, а не математике, ты будешь слушать? Будешь делать, что тебе говорят?

— Я сеньора Роблеса слушал.

— Ты прекрасно знаешь, что сеньора Роблеса ты не слушал. Ты подрывал его авторитет. Ты над ним насмехался. Ты говорил глупости — умышленно. Сеньор Роблес — умный человек. У него ученая степень в инженерном деле, университетская. Ты мог бы у него поучиться, но решил подурочиться.

— Я не дурачился, это сеньор Роблес дурачился. Я уже умею складывать. Семь и девять будет шестнадцать. Семь и шестнадцать будет двадцать три.

— Тогда чего ты не показал ему, как умеешь складывать, когда он тут был?

— Потому что, если по его, нужно сначала сделаться маленьким. Нужно сделаться маленьким, как горошина, а потом маленьким, как горошина в горошине, а потом как горошина в горошине в горошине. И тогда можно разбираться с его числами, когда ты маленький-малюсенький-малюсенький-малюсенький-премалюсенький.

— И зачем же быть таким маленьким, чтобы разбираться с его числами?

— Потому что его числа — ненастоящие.

— Ну вот лучше б ты ему это все объяснил, а не дурачился и не раздражал его; ты его оттолкнул от себя.

Глава 4

Идут дни, ветрами задувает зима. Бенги и его семья отбывают. Роберта предлагает отвезти их на станцию, где они смогут сесть в автобус на север и поискать работу на фермах среди великих равнин. Майте с сестрами, облаченные в одинаковые наряды, заглядывают попрощаться. У Майте для Давида подарок: маленькая коробочка, которую она сделала из жесткого картона, довольно изящно разрисованная орнаментами из цветов и лоз.

— Это тебе, — говорит она. Давид бесцеремонно и без всякой благодарности принимает коробочку. Майте подставляет щеку для поцелуя. Давид прикидывается, что не заметил. Устыженная Майте убегает. Даже Инес, которой девочка не нравится, задета ее огорчением.

— Почему ты так жестоко обошелся с Майте? — сурово спрашивает он, Симон. — А если вы больше никогда не увидите? Зачем ей такое скверное воспоминание о тебе на всю оставшуюся жизнь?

— Мне нельзя спрашивать тебя, значит, тебе нельзя спрашивать меня, — говорит мальчик.

— Спрашивать тебя о чем?

— Спрашивать меня зачем.

Он, Симон, растерянно качает головой.

В тот вечер Инес находит коробочку в мусоре.

Они хотят узнать побольше об Академиях — Пения и Танца, но Роберта, кажется, обо всем забыла. Мальчик же, судя по всему, совершенно счастлив сам по себе, снует по собственным делам или сидит у себя на койке, зачитавшись своей книжкой. Но Боливар, который поначалу участвовал во всех его делах, теперь предпочитает оставаться дома — спать.

Мальчик жалуется на Болиvara.

— Боливар меня больше не любит, — говорит он.

— Он любит тебя, как и прежде, — говорит Инес. — Он просто уже не так молод. Ему уже не в радость носиться весь день, как тебе. Он устает.

— Год для собаки — все равно что семь лет для нас, — говорит он, Симон. — Боливар теперь — средних лет.

— Когда он умрет?

— Не скоро. У него впереди еще долгие годы.

— Но он умрет?

— Да, он умрет. Собаки умирают. Они такие же смертные, как и мы. Если хочешь питомца, который проживет дольше тебя, — заводи слона или кита.

В тот же день он рубит дрова — такую он взял на себя работу, — и мальчик приходит к нему со свежей мыслью.

— Симон, ты видел большую машину в сарае? Можно положить в нее оливки и сделать масло?

— Не думаю, что получится, мой мальчик. Мы с тобой недостаточно сильные, чтобы крутить ко-

леса. В давние времена для этого использовали вола. Привязывали его к столбу, и он ходил кругами — крутил колеса.

— И они потом давали ему попить масла?

— Если он хотел оливкового масла, ему давали масло. Но обычно волы не пьют оливковое масло. Оно им не нравится.

— А он давал им молоко?

— Нет, молоко дают коровы, а не волы. Волу нечего дать, кроме своего труда. Он ворочает оливковый пресс или таскает плуг. За это мы его защищаем. Мы защищаем его от его врагов — от львов и тигров, которые хотят его убить.

— А кто защищает львов и тигров?

— Никто. Львы и тигры не желают на нас работать, и мы их поэтому не защищаем. Им приходится защищаться самим.

— Здесь есть львы и тигры?

— Нет. Ушли их времена. Львы и тигры исчезли. В прошлом. Если хочешь львов и тигров, нужно искать их в книгах. Волон тоже. Дни волон почти сочтены. Ныне работу за нас делают машины.

— Нужно изобрести машину, чтобы собирала оливки. Тогда вам с Инес не пришлось бы работать.

— Это правда. Но если изобретут машину для сбора оливок, у нас не будет работы, а значит, и денег. Это старое противоречие. Некоторые люди — за машины, а некоторые — за ручной сбор.

— Я не люблю работать. Работа — это скучно.

— В таком случае тебе повезло, что у тебя есть родители, которым работать не лень. Потому что

без нас ты бы голодал, и вряд ли бы тебе это понравилось.

— Я бы не голодал. Мне бы Роберта еду давала.

— Да, несомненно — по доброте душевной она давала бы тебе еду. Но ты действительно хочешь так жить — по чужой милости?

— Что такое милость?

— Милость — это благоволение других людей, чужая доброта.

Мальчик смотрит на него странно.

— Нельзя бесконечно полагаться на чужую доброту, — продолжает он, Симон. — Нужно давать, а не только брать, иначе будет не поровну, несправедливо. Ты каким человеком хочешь быть: который дает или который берет? Какой лучше?

— Который берет.

— Правда? Ты правда так считаешь? Разве давать не лучше, чем брать?

— Львы не дают. Тигры не дают.

— А ты хочешь быть тигром?

— Я не хочу *быть* тигром. Я просто тебе говорю. Тигры — не плохие.

— Тигры — и не хорошие. Они — не люди, поэтому они вне добра и зла.

— Ну, я и человеком быть не хочу.

«Я и человеком быть не хочу». Он пересказывает разговор Инес.

— Меня тревожит, когда он так рассуждает, — говорит он. — Не сделали ли мы большую ошибку, забрав его из школы, растя вне общества, позволяя носиться дикарем с другими детьми?

— Он любит животных, — говорит Инес. — Ему не хочется быть, как мы, — сидеть да тревожиться о будущем. Он хочет быть свободным.

— Не думаю, что он имеет в виду это, когда говорит, что не хочет быть человеком, — говорит он. Но Инес не слушает.

Роберта появляется с сообщением: их приглашают к сестрам на чай, в четыре часа, в большой дом. Давид пусть тоже придет.

Инес достает из чемодана лучшее платье и туфли к нему. Суется с прической.

— Я не была у парикмахера с тех пор, как мы уехали из Новиллы, — говорит она. — Выгляжу как безумица. — Она заставляет мальчика облачиться в рубашку с оборками и в ботинки на пуговицах, хотя он жалуется, что они ему малы и трут ноги. Она мочит ему волосы и приглаживает их расческой.

Ровно в четыре часа они приходят к дверям. Роберта ведет их по длинному коридору в заднюю часть дома, в комнату, загроможденную столиками, табуретками и пуфами.

— Это зимняя гостиная, — говорит Роберта. — Здесь после обеда солнечно. Присаживайтесь. Сестры скоро будут. И, прошу вас, ни слова об утке — помните? — которую другой мальчик убил.

— Почему? — спрашивает мальчик.

— Потому что это их расстроит. У них мягкие сердца. Они хорошие люди. Им хочется, чтобы ферма была приютом диких созданий.

Пока они ждут, он, Симон, рассматривает картины на стенах: акварели — пейзажи (он узнает

запруду, где плавали злополучные утки), приятные, но любительски выполненные.

Входят две женщины, за ними Роберта вносит чайный поднос.

— Вот они, — нараспев говорит Роберта, — сеньора Инес и ее муж, сеньор Симон, а это их сын Давид. Сеньора Валентина и сеньора Консуэло.

Женщинам — они явно сестры — шестьдесят с чем-то, седовласые, одеты сдержанно.

— Почтен знакомством, сеньора Валентина, сеньора Консуэло, — говорит он, кланяясь. — Позвольте поблагодарить вас за кров в вашем прекрасном поместье.

— Я им не сын, — говорит Давид спокойным ровным голосом.

— О, — говорит одна из сестер в деланом изумлении, Валентина или Консуэло, он не знает, кто из них кто. — И чей же ты сын тогда?

— Ничей, — твердо отвечает Давид.

— Значит, ты ничей сын, юноша, — говорит Валентина или Консуэло. — Интересно. Интересное обстоятельство. Сколько тебе лет?

— Шесть.

— Шесть. И в школу ты не ходишь, насколько я понимаю. Не хочешь в школу?

— Я ходил в школу.

— И?

Вмешивается Инес:

— Мы отправили его в школу там, где до этого жили, но у него были неудачные учителя, и мы решили обучать его на дому. Пока.

— Они устраивали детям контрольные, — добавляет он, Симон, — ежемесячные контрольные, чтобы проверять их успехи. Давиду не понравилось, что его оценивают, и он писал в контрольных глупости, и в результате вышли неприятности. У всех нас.

Сестра не обращает на него внимания.

— Ты бы не хотел ходить в школу, Давид, и общаться с другими детьми?

— Я предпочитаю учиться дома, — сухо отвечает Давид.

Другая сестра меж тем наливает чай.

— Сахар нужно, Инес? — спрашивает она. Инес качает головой. — А вам, Симон?

— Это чай? — спрашивает мальчик. — Я не люблю чай.

— Не хочешь — не пей, — говорит сестра.

— Вам, наверное, любопытно, Инес, Симон, — говорит первая сестра, — зачем вас сюда пригласили. Ну, Роберта рассказывала о вашем сыне, о том, какой он умный мальчик, умный и общительный, как он впустую тратит время с детьми сборщиков, а должен бы учиться. Мы с сестрой обсудили это и думаем сделать вам предложение. А если вам любопытно, кстати, где наша третья сестра, поскольку я знаю, что мы известны всей округе как Три Сестры, скажу вам, что сеньора Альма, к сожалению, не расположена. Она страдает меланхолией, и сегодня как раз такой день, когда меланхолия взяла верх. Один из ее черных дней, как она их называет. Но она с нашим предложением полностью согласна.

Предложение же таково: мы запишем вашего сына в одну из частных академий в Эстрелле. Роберта немножко рассказала вам об Академиях, как я понимаю, — Пения и Танца. Мы рекомендовали бы Академию Танца. Мы знакомы с ее директором, сеньором Арройо, и с его женой — и можем за них поручиться. Помимо обучения танцам, они предлагают отличное общее образование. Мы с сестрой будем отвечать за оплату обучения вашего сына, пока он в Академии.

— Мне не нравится танцевать, — говорит Давид. — Я люблю петь.

Сестры переглядываются.

— У нас нет личных связей в Академии Пения, — говорит Валентина или Консуэло, — но, думаю, не ошибусь, если скажу, что они не предлагают общего образования. Их задача — учить на профессиональных певцов. Хочешь быть профессиональным певцом, Давид, когда вырастешь?

— Не знаю. Я пока не знаю, кем хочу быть.

— Ты не хочешь быть пожарным или машинистом, как другие мальчики?

— Нет. Я хотел быть спасателем, но мне не дали.

— Кто не дал?

— Симон.

— И почему же Симон против, чтобы ты был спасателем?

Он, Симон, говорит:

— Я не против, чтобы он был спасателем. Я не против никаких его планов и грез. Что до меня — его мать, возможно, думает иначе, — так пусть

будет спасателем, или пожарником, или певцом, или человеком с луны, если ему так захочется. Я не управляю его жизнью — я даже не делаю вид, что даю ему советы. По правде сказать, он утомил нас своими капризами — и меня, и его мать. Он как бульдозер. Он нас раскатал. Мы раскатаны. Мы больше не противимся.

Инес смотрит на него потрясенно. Давид улыбается сам себе.

— Вот так откровение! — говорит Валентина. — Я таких не слыхала много лет. А ты, Консуэло?

— И я много, — говорит Консуэло. — Довольно сильно! Спасибо, Симон. Так что же вы скажете на наше предложение — отправить Давида в Академию Танца?

— Где эта Академия? — спрашивает Инес.

— В городе, в самом его центре, в том же здании, что и музей искусств. На ферме вы остаться не сможете, к сожалению. Это слишком далеко. Ездить будет для вас чересчур обременительно. Вам придется найти жилье в городе. Но вам на ферме все равно оставаться ни к чему — раз урожай уже собрали. Тут будет слишком одиноко, слишком скучно.

— Нам вовсе не скучно, — говорит он, Симон. — Напротив — нам превосходно. Нам здесь было прекрасно каждую минуту. Более того, мы договорились с Робертой, что я буду помогать по хозяйству, пока мы обитаем в казарме. Всегда найдется мелкая работа, даже не в сезон. Обрезка, например. Уборка.

Он смотрит на Роберту — ищет поддержки. Та упорно глядит в сторону.

— Под казармой вы имеете в виду общежитие, — говорит Валентина. — Общежития на зиму закроются, поэтому вам не удастся там остаться. Но Роберта может посоветовать, где искать жилье. А если ничего не получится, всегда есть *Asistencia*.

Инес встает. Он — следом за ней.

— Вы так и не ответили, — говорит Консуэло. — Вам нужно время обсудить? Как вам такая мысль, юноша? Разве не хочется в Академию Танца? Там будут другие дети.

— Я хочу остаться здесь, — говорит мальчик. — Я не люблю танцевать.

— К сожалению, — говорит сеньора Валентина, — здесь ты остаться не сможешь. Более того, поскольку ты очень мал и не знаешь мира, у тебя есть лишь предрассудки, ты не можешь принимать решения о своем будущем. Я считаю... — она протягивает руку, берет его за подбородок, поднимает ему голову так, чтобы он смотрел прямо на нее, — ...что тебе надо дать твоим родителям, Инес и Симону, обсудить наше предложение, а затем подчиниться любому решению, которое они примут, в духе сыновнего послушания. Понял?

Давид ровно смотрит на нее.

— Что такое «сыновнее послушание»? — спрашивает он.

Глава 5

Фасад музея искусств, расположенного на северной стороне главной площади Эстреллы, украшают высокие колонны из песчаника. Он, Инес и мальчик попадают в здание, как и было велено, минуя главный вход, через узкую дверь, выходящую в переулок, над которой яркими золотыми буквами значится «*Academia de la Danza*», и далее следуют по стрелке, указывающей на лестницу. Поднимаются на второй этаж, проходят через распашные двери и оказываются в просторной ярко освещенной студии, пустой, если не считать пианино в углу.

Входит женщина — высокая, стройная, облаченная с головы до пят в черное.

— Чем могу помочь? — спрашивает она.

— Мы бы хотели поговорить с кем-нибудь о записи моего сына, — говорит Инес.

— Записи вашего сына — куда?..

— Записи его в вашу Академию. Насколько я понимаю, сеньора Валентина разговаривала об этом с вашим директором. Моего сына зовут Давид. Она уверила нас, что дети, записанные к вам в Академию, получают и общее образование. В смысле, не только танцуют. — Она произносит

слово «танцуют» с некоторым презрением. — Нас в первую очередь интересует общее образование, а танцы — не очень.

— Сеньора Валентина говорила нам о вашем сыне, все верно. Но я недвусмысленно дала ей понять и так же откровенно скажу вам, сеньора: это не обычная школа и не замена ей. Эта Академия занимается воспитанием души через музыку и танец. Если вашему сыну требуется обычное обучение, вам лучше воспользоваться услугами государственного образования.

«Воспитание души». Он касается руки Инес.

— Если позволите... — говорит он, обращаясь к бледной молодой женщине — столь бледной, что она кажется обескровленной, — *alabastra* приходит ему на ум, — но тем не менее красивой, поразительно красивой, и, возможно, это вызвало в Инес враждебность — красота, словно у статуи, ожившей и пробравшейся сюда из музея. — Если позволите... Мы в Эстрелле приезжие, новенькие. Мы работали на ферме у сеньоры Валентины и ее сестер временно, пока здесь не обосновались. Сестры любезно заинтересовались судьбой Давида и предложили финансовую помощь, чтобы он мог посещать вашу Академию. Академию они очень хвалят. Говорят, что вы знамениты образованием в целом, что ваш директор, сеньор Арройо, — почтенный работник образования. Можно ли нам добиться встречи с сеньором Арройо?

— Сеньор Арройо, мой муж, сейчас не может вас принять. На этой неделе нет занятий. Они

возобновятся в понедельник, после каникул. Но если хотите обсудить практические вопросы — можете обсудить их со мной. Во-первых, ваш сын будет у нас пансионером?

— На пятидневке? Нам не сказали, что ученики могут в Академии жить.

— У нас мало мест для проживающих учеников.

— Нет, Давид будет жить дома, правда, Инес? Инес кивает.

— Хорошо. Во-вторых, обувь. У вашего сына есть бальные туфли? Нет? Бальные туфли ему понадобятся. Я напишу вам адрес магазина, где вы сможете их приобрести. А также одежду полегче и поудобнее. Важно, чтобы тело было свободно.

— Бальные туфли. Учтем. Вы только что говорили о душе, о воспитании души. В каком направлении вы воспитываете душу?

— В направлении добра. Повиновения добру. А почему вы спрашиваете?

— Просто так. А какво остальное расписание, помимо танцев? Нужно ли купить какие-нибудь книги?

Во внешности этой женщины есть нечтостораживающее, чего он не может толком определить. А теперь понимает, в чем дело. У нее нет бровей. Брови у нее либо выщипаны, либо сбриты — а может, они никогда и не росли. Ниже ее светлых, довольно редких волос, туго стянутых на затылке, простирается нагой лоб, широкий, как его ладонь. Глаза — синее небесного — спокойно, уверенно встречаются взглядом с его. «Она видит

меня насквозь, — думает он, — что бы я ни говорил». Не такая уж и молодая, как сначала показалось. Тридцать? Тридцать пять?

— Книги? — Она небрежно отмахивается. — С книгами позже. Всему свое время.

— А классы? — говорит Инес. — Можно нам посмотреть классы?

— Это наш единственный класс. — Она обводит взглядом студию. — Здесь дети танцуют. — Приблизившись, она берет Инес за руку. — Сеньора, вам необходимо понять: это Академия Танца. Танец — в первую очередь. Все остальное — вторично. Все остальное — потом.

От ее прикосновения Инес зримо деревенеет. Ему хорошо известно, как Инес противится человеческому прикосновению — и уж точно его сторонится.

Сеньора Арройо поворачивается к мальчику.

— Давид — так тебя зовут?

Он ожидает от мальчика привычной дерзости, привычного отрицания («Это ненастоящее мое имя»). Но нет: мальчик обращает к ней лицо, словно раскрытый цветок.

— Добро пожаловать в нашу Академию, Давид. Я уверена, тебе здесь понравится. Меня зовут сеньора Арройо, и я буду за тобой присматривать. Ты слышал, что я сказала твоим родителям о бальных туфлях и о том, что нужно носить свободную одежду?

— Да.

— Хорошо. Тогда жду тебя в понедельник утром, ровно в восемь. Начнется новая четверть.

Иди сюда. Потрогай пол. Славный, да? Его положили специально для танцев, это доски из кедра, растущего высоко в горах, их сделали плотники, настоящие искусники, и пол у них получился настолько гладкий, насколько это вообще возможно. Мы вошим его каждую неделю, до блеска, и каждый день его полируют ногами ученики. Видишь, какой он гладкий и теплый! Чувствуешь тепло?

Мальчик кивает. Никогда прежде не был он таким отзывчивым — отзывчивым, доверчивым, подобным ребенку.

— Тогда до свиданья, Давид. Увидимся в понедельник, приходи в новых туфлях. До свиданья, сеньора. До свиданья, сеньор. — Распашные двери закрываются за ней.

— Она высокая, да? Сеньора Арройо, — говорит он мальчику. — Высокая и изящная, как настоящая танцорша. Она тебе нравится?

— Да.

— Значит, решено? Будешь ходить к ней в школу?

— Да.

— И можно сообщить Роберте и трем сестрам, что наш поход состоялся?

— Да.

— Что скажешь, Инес? Состоялся наш поход?

— Я тебе скажу, что думаю, когда увижу, что тут за образование.

Перегораживая им выход на улицу, к ним спиной стоит мужчина. На нем мятый серый мундир, фуражка сдвинута назад, он курит сигарету.

— Позвольте пройти, — говорит он, Симон.

Мужчина — очевидно, погруженный в мечтания, — вздрагивает, затем широким жестом приглашает их к выходу:

— Сеньора, сеньоры...

Они минуют его, и их обволакивает табачным дымом и запахом нестираной одежды.

На улице они медлят, оглядываются по сторонам, и мужчина в сером спрашивает:

— Сеньор, вы ищете музей?

Он оборачивается.

— Нет, у нас были дела в Академии Танца.

— А, Академия Аны Магдалены! — Голос у него глубокий — настоящий бас. Он отбрасывает сигарету, подходит ближе. — Сдается мне, ты собираешься поступить в Академию, юноша, и сделаться знаменитым танцором, угадал? Надеюсь, ты найдешь когда-нибудь время и станцуеть для меня. — Он оголяет пожелтевшие зубы в широкой радушной улыбке. — Добро пожаловать! Если станешь посещать Академию, мы будем часто видеться, так что позволь представиться. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в музее старшим смотрителем — такая у меня должность, громкая! Чем занят старший смотритель? Ну, задача старшего смотрителя — сторожить музейные картины и скульптуры, беречь их от пыли и естественных врагов, надежно запирать по вечерам и выпускать на свободу по утрам. Как старший смотритель я здесь каждый день, кроме суббот, и потому, само собой, вижу со всей детворой в Академии и с их родителями. —

Тут он обращается к нему, Симону: — Как вам достопочтенная Ана Магдалена? Произвела впечатление?

Он, Симон, переглядывается с Инес.

— Мы потолковали с сеньорой Арройо, но пока ничего не решили, — говорит он. — Нужно все взвесить.

Освободитель статуй и картин Дмитрий хмурится.

— Незачем. Незачем что-либо взвешивать. Откажетесь от Академии — сделаете глупость. Жалеть будете до конца своих дней. Сеньор Арройо — мастер, настоящий мастер. Другого слова нету. Для нас честь жить с ним в одном городе — а Эстрелла великим городом никогда не была — и отдавать наших детей ему в обучение искусству танца. Будь я на месте вашего сына, я бы бился день и ночь, чтобы меня приняли в Академию. Выбросьте из головы любые другие варианты, какие б ни были.

Он не уверен, что Дмитрий ему нравится, — в скверно пахнущей одежде, с сальными волосами. И ему уж точно не нравится, когда его поучают на людях (разгар утра, на улице полно народу).

— Ну, — говорит он, — решать нам, верно, Инес? А теперь нам пора. До свиданья. — С этими словами он берет мальчика за руку, и они уходят.

В машине мальчик заговаривает впервые.

— Почему он тебе не понравился?

— Музейный смотритель? Дело не в том, понравился он или нет. Он — чужой человек. Он

нас не знает, не знает наших обстоятельств. Ему не следует совать свой нос в наши дела.

— Он тебе не нравится, потому что у него борода.

— Чепуха.

— Нет у него бороды, — говорит Инес. — Есть разница между красивой опрятной бородой и пренебрежением к собственной внешности. Этот человек не бреется, не моется, не носит чистую одежду. Плохой пример детям.

— А кто хороший пример детям? Симон — хороший пример?

Молчание.

— Ты хороший пример, Симон? — настаивает мальчик.

Инес за него не вступается, и ему приходится защищаться самому.

— Я стараюсь, — говорит он. — Я стараюсь быть хорошим примером. И если мне не удастся, это не потому что я стараюсь мало. Надеюсь, в целом я до сих пор был хорошим примером. Но об этом судить тебе.

— Ты не отец мне.

— Нет, не отец. Но это не отменяет моего права — верно? — быть примером.

Мальчик не отвечает. Он вообще теряет всякий интерес, отключается, рассеянно смотрит в окно (они едут мимо унылейшего района, квартал за кварталом маленьких домиков, похожих на коробки). Повисает долгое молчание.

— Дмитрий — он как ятаган, — вдруг говорит мальчик. — Голову рубить. — Пауза. — Он

мне нравится, пусть тебе и нет. Я хочу в Академию.

— Дмитрий никакого отношения к Академии не имеет, — говорит Инес. — Он просто привратник. Если хочешь в Академию, если ты решился — пойдешь. Но как только они начнут жаловаться, что ты слишком для них умный, и захотят послать тебя к психологам и психиатрам, я тебя сразу заберу.

— Чтобы танцевать, ума не надо, — говорит мальчик. — Когда мы купим мне бальные туфли?

— Купим сейчас. Симон отвезет нас в обувной магазин, по адресу, который дала та дама.

— Ты и ее тоже ненавидишь? — спрашивает мальчик.

Теперь черед Инес уставиться в окно.

— Она мне нравится, — говорит мальчик. — Она пригожая. Пригожее тебя.

— Пора тебе научиться судить людей по их внутренним свойствам, — говорит он, Симон. — А не по тому, пригожие они или нет. И есть ли у них борода.

— А какие бывают внутренние свойства?

— Внутренние свойства — это доброта, честность и чувство справедливости. Ты про них наверняка читал в «Дон Кихоте». Внутренних свойств очень много, больше, чем я могу с ходу назвать: чтобы знать весь список целиком, нужно быть философом, но пригожесть — не внутреннее свойство. Твоя мама — такая же пригожая, как и сеньора Арройо, только по-другому.

— Сеньора Арройо — добрая.

— Да, согласен, похоже, добрая. И ты ей, кажется, понравился.

— Значит, у нее есть внутренние свойства.

— Да, Давид, она добрая — вдобавок к пригожести. Но пригожесть и доброта не связаны друг с другом. Пригожесть — случайное свойство, вопрос удачи. Можно родиться пригожим или невзрачным, мы этого сами не решаем. А вот быть добрым — не случайность. Мы не рождаемся добрыми. Добрыми мы быть учимся. Мы становимся добрыми. Вот в чем разница.

— У Дмитрия тоже есть внутренние свойства.

— У Дмитрия запросто могут быть внутренние свойства, я, вероятно, поспешил его судить, соглашусь. Я просто пока их не заметил, эти его внутренние свойства. Их сегодня не было видно.

— Дмитрий — добрый. А что такое «достопочтенная»? Почему он сказал «достопочтенная Ана Магдалена»?

— Достопочтенная. Это слово ты тоже наверняка видел в «Дон Кихоте». Почитать кого-нибудь — значит, уважать его или ее и отдавать ему или ей должное. Однако Дмитрий это слово использовал иронически. Он, что ли, шутил. «Достопочтенный» — слово, которое обычно применяют к людям постарше, а не к кому-то в возрасте сеньоры Арройо. К примеру, если б я звал тебя «достопочтенным юным Давидом», это бы звучало потешно.

— *Достопочтенный старый Симон.* Тоже потешно.

— Как скажешь.

Бальные туфли, как выясняется, бывают лишь двух видов — золотые и серебряные. Мальчик отвергает и те и другие.

— Это для Академии сеньора Арройо? — спрашивает продавец в обувном магазине.

— Да.

— Все дети в Академии носят наши туфли, — говорит продавец. — Либо золотые, либо серебряные, без исключения. Если появитесь на занятиях в черных или белых, молодой человек, смотреть на вас будут косо.

Продавец — высокий сутулый человек с усами такими тоненькими, будто они нарисованы у него над верхней губой углем.

— Слышишь, что говорит этот господин, Давид? — говорит он, Симон. — Либо золотые, либо серебряные, либо танцуй в носках. Что решим?

— Золотые, — говорит мальчик.

— Значит, золотые, — сообщает он продавцу. — Сколько они стоят?

— Сорок девять реалов, — говорит продавец. — Пусть примерит эту пару, чтобы размер был его.

Он, Симон, взглядывает на Инес. Инес качает головой.

— Сорок девять реалов за детские туфли, — говорит она. — Как можно драть такую цену?

— Они сделаны из лайки. Это не обычные туфли. Они созданы для танцоров. У них встроенная поддержка стопы.

— Сорок реалов, — говорит Инес.

Человек качает головой.

— Хорошо, сорок девять, — говорит он, Симон.

Человек усаживает мальчика, снимает с него обувь, натягивает ему бальные туфли. Точно по ноге. Он, Симон, платит человеку сорок девять реалов. Человек упаковывает туфли в коробку и отдает ее Инес. Они молча уходят из магазина.

— Можно я сам понесу? — говорит мальчик. — Они уйму денег стоили?

— За пару туфель — уйму, — говорит Инес.

— Но это уйма денег?

Он ждет, что ответит Инес, но та молчит.

— Нет такого понятия, как просто уйма денег, — говорит он терпеливо. — Сорок девять реалов — уйма денег за пару туфель. Вообще же сорок девять реалов могут быть и не уймой денег — за машину или дом. Вода стоит в Эстрелле самую малость, а вот если ты окажешься в пустыне и начнешь умирать от жажды — будешь готов отдать все, что у тебя есть, за один лишь глоток воды.

— Почему? — говорит мальчик.

— Почему? Потому что жить — важнее всего на свете.

— Почему жить — важнее всего на свете?

Он собирается ответить, собирается поделиться точными, терпеливыми, вдумчивыми словами, но в нем вдруг вскипает нечто иное. Гнев? Нет. Раздражение? Нет — нечто куда сильнее. Отчаяние? Вероятно — отчаяние, малая его ипостась. Почему? Потому что он хотел бы верить, что, отвечая на все прибывающие «Почему?» точно, терпеливо и вдумчиво, ведет мальчика по лабиринту смерт-

ной жизни. Но есть ли хоть какое-то доказательство тому, что этот ребенок впитывает предложенные наставления — или хотя бы слышит, что ему говорят?

Он останавливается посреди людного тротуара. Инес с мальчиком тоже замирают и глядят на него растерянно.

— Допустим, так, — говорит он. — Бредем мы по пустыне, ты, Инес и я. Ты говоришь мне, что тебя мучает жажда, и я предлагаю тебе стакан воды. Ты ее при этом не пьешь, а выливаешь на песок. Ты говоришь, что тебя мучает жажда ответов: почему так? почему это? Я терпеливый, и я люблю тебя — и потому всякий раз даю тебе ответы, которые ты выливаешь на песок. Сегодня я наконец устал давать тебе воду. «Почему жить — важнее всего на свете?» Если жизнь не представляется тебе важной — пусть так.

Инес ошарашенно скидывает руку ко рту. А мальчик хмурится.

— Ты говоришь, что любишь меня, а ты меня не любишь, — говорит он. — Ты притворяешься.

— Я предлагаю тебе ответы, лучше которых у меня нет, а ты отбрасываешь их, как ребенок. Не удивляйся, что у меня на тебя иногда не хватает терпения.

— Ты всегда так говоришь. Ты всегда говоришь, что я ребенок.

— Потому что ты ребенок — и глупый к тому же иногда.

Женщина средних лет с корзиной для продуктов в руке останавливается послушать. Она шеп-

чет что-то на ухо Инес — ему не слышно. Инес поспешно мотает головой.

— Пошли отсюда, — говорит Инес, — а не то приедет полиция и заберет нас.

— Почему полиция нас заберет? — спрашивает мальчик.

— Потому что Симон ведет себя как безумец, а мы стоим и слушаем его чепуху. Потому что он нарушает общественный порядок.

Глава 6

Наступает понедельник, и везти мальчика в новую школу выпадает ему, Симону. Они приезжают туда задолго до восьми утра. Дверь в студию отперта, но там пусто. Он садится на табурет у пианино. Они ждут.

Отворяется задняя дверь, входит сеньора Арройо, облаченная, как и прежде, в черное. Не обращая на него внимания, она стремительно приближается к мальчику, берет его за руки.

— Добро пожаловать, Давид, — говорит она. — Я вижу, ты пришел с книгой. Покажешь?

Мальчик протягивает ей «Дон Кихота». Она осматривает книгу, нахмурившись, листает, возвращает ему.

— А бальные туфли у тебя с собой?

Мальчик извлекает туфли из тряпичного мешка.

— Хорошо. Знаешь, как мы называем золото и серебро? Мы называем их благородными металлами. Железо, медь и свинец мы зовем рабскими металлами. Благородные металлы — высшие, а рабские — низшие. Так же, как и металлы, есть благородные числа и рабские. Ты научишься танцевать благородные числа.

— Они не из настоящего золота, — говорит мальчик. — Это просто цвет.

— Это просто цвет, но у цвета есть смысл.

— Я пойду, — говорит он, Симон. — Вернусь забрать тебя после обеда. — Он целует мальчика в макушку. — До свиданья, мой мальчик. До свиданья, сеньора.

Чтобы как-то убить время, он забредает в музей. Стены завешаны довольно негусто. «Теснина Зафи́ро на закате». «Композиция I». «Композиция II». «Выпивоха». Имя художника ему ничего не говорит.

— Доброе утро, сеньор, — произносит знакомый голос. — Какие у вас впечатления?

Это Дмитрий, *sans* фуражки, растрепанный так, словно только что из постели.

— Интересные, — отвечает он. — Я не специалист. А есть в Эстрелле школа живописи — стиль Эстреллы?

Дмитрий не обращает на этот вопрос внимания.

— Я видел, как вы привезли сына. Большой для него день — первый день с сеньорами Арройо.

— Да.

— Вы улучите возможность поговорить с сеньорой Арройо, Аной Магдаленой. Какая танцорша! До чего грациозная! Но, увы, бездетная. Она хочет своих детей, но не может. Ее это терзает, мучает. Так и не скажешь — если поглядеть на нее, правда? Мучает? С виду — безмятежный ангел, что питается нектаром. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, большего и не надо. Но есть дети сеньора Арройо, от первого брака, она им мать.

А еще дети-пансионеры. Столько нужно раздать любви. Вы знакомы с сеньором Арройо? Нет? Пока нет? Великий человек, настоящий идеалист, живет исключительно своей музыкой. Сами увидите. К сожалению, не все время крепко стоит на земле, если вы понимаете, к чему я клоню. Витает в облаках. Вот Ане Магдалене и приходится делать всю тяжкую работу — ставить малышам танцы, кормить пансионеров, хозяйством заниматься, следить за делами Академии. И все она делает! Великолепно! Ни слова жалоб! Сама невозмутимость! Таких женщин — одна на тысячу. Ею все восхищаются.

— И все это — в одном доме, в Академии Танца? И пансион для учеников, и дом Арройо?

— Ой, здесь прорва места. Академия занимает весь верхний этаж. Вы сами откуда, сеньор, и семья ваша?

— Из Новиллы. Мы жили в Новилле до недавнего времени, пока не двинулись на север.

— Новилла. Никогда раньше не слышал. Я сам из Эстреллы и всегда жил здесь.

— И все это время работаете в музее?

— Нет-нет-нет, я всех своих работ уже и не упомяну. Такая у меня натура — беспокойная. Начинал грузчиком на базаре. Потом чуть-чуть — дорожным рабочим, но мне не понравилось. Затем долго работал в больнице. Ужасно. Ужасный график. Но зато трогательно! А потом пришел день, и вся моя жизнь переменялась. Не преувеличиваю. Переменялась к лучшему. Болтался я по площади, по своим делам, и тут она прошла мимо. Я глазам

своим не поверил. Думал — виденье. Такая красивая. Неземная. Подскочил я и побрел за ней — как собака. Неделями ошивался я возле Академии — чтоб хоть одним глазком еще ее повидать. Она, само собой, на меня ноль внимания. С чего бы? На такого уroda, как я. И тогда я увидел явление, что в музее есть работа — уборщиком, нижняя ступенька лестницы, ну и, короче говоря, начал я тут работать и остался. Сначала сделали смотрителем, а в прошлом году — старшим смотрителем. За прилежание и пунктуальность.

— Не уверен, что понимаю вас. Вы о сеньоре Арройо говорите?

— Об Ане Магдалене. Перед которой я преклоняюсь. И мне не стыдно в этом признаваться. Вы бы тоже, небось, если б преклонялись перед женщиной, пошли бы за ней на край света, а?

— Музей — это не край света, прямо скажем. А как сеньор Арройо относится к вашему преклонению перед его женой?

— Сеньор Арройо — идеалист, я вам сказал уже. У него голова невесть где, в небесных сферах, где витают числа.

Ему, Симону, этот разговор приелся. Он не приглашал этого мужчину откровенничать.

— Мне пора, есть одно дело, — говорит он.

— Я думал, вы хотели посмотреть живопись эстрельской школы.

— В другой раз.

До конца школьного дня еще не один час. Он покупает газету, садится в кафе на площади, заказывает чашку кофе. На первой странице фото-

графия пожилой пары с исполинской тыквой из их огорода. Она весит четырнадцать килограммов, сообщает заметка, и побивает предыдущий рекорд почти на килограмм. На второй странице криминальная хроника описывает похищение газонокосилки из сарая (незапертого) и вандализм в общественном туалете (разбили рукомойник). Развернуто приводятся материалы заседаний муниципального совета и его многочисленных подкомитетов: подкомитета по бытовому обслуживанию, подкомитета по дорогам и мостам, подкомитета по финансам, подкомитета, занятого организацией грядущего театрального фестиваля. Далее — спортивные страницы, с предвкушением апогея футбольного сезона — скорой схватки команд Арагонсы и Северной Долины.

Он просматривает колонки вакансий. Укладчик кирпича. Каменщик. Электрик. Бухгалтер. Чего он ищет? Легкой работы, возможно. Садоводство. Портовые грузчики, разумеется, не требуются.

Расплачивается за кофе.

— Есть ли в городе Центр переселения? — спрашивает он у официантки.

— Само собой, — отвечает она и объясняет, где это.

Центр переселения в Эстрелле — совсем не такой громадный, как в Новилле: всего-то тесное бюро в переулке. За столом — бледнолицый, довольно скорбного вида молодой человек в клочковатой бороде.

— Добрый день, — говорит он, Симон. — Я недавно прибыл в Эстреллу. Последний месяц

с небольшим трудился в долине, разнорабочим — в основном собирал фрукты. Сейчас ищу что-нибудь более постоянное, желательно — в городе.

Конторщик извлекает каталожный ящик и ставит его на стол.

— Кажется, что много, а на самом деле большинство карточек недействительно, — сообщает он доверительно. — Беда в том, что люди не общаются нам, когда вакансия уходит. Может, вот это: химчистка «Оптима». Знаете что-нибудь о химической чистке?

— Ничего, но дайте записать адрес. А нет ли у вас чего-нибудь более физического — на свежем воздухе?

Конторщик пренебрегает этим вопросом.

— Кладовщик на складе запчастей. Интересно? Никакого опыта не требуется, главное — управляться с цифрами. Вы умеете управляться с цифрами?

— Я не математик, но считать умею.

— Как я уже сказал, обещать, что вакансия все еще открыта, не могу. Видите, как чернила поблекли? — Он подносит карточку к свету. — Это значит, что карточка старая. Или вот это? Машинистка в юридическую контору. Печатать умеете? Нет? Тогда вот еще: уборщик в художественном музее.

— Эта вакансия ушла. Я знаю человека, который ее занял.

— А переобучение не рассматриваете? Возможно, это для вас лучший вариант: записаться на курсы и переучиться на новое ремесло. Пока обучаетесь, пособие по безработице будете получать.

— Я подумаю, — говорит он. О том, что о своей незанятости куда надо не сообщал, он не упоминает.

Приближается три часа пополудни. Он возвращается к Академии. В дверях — Дмитрий.

— За сыном явились? — говорит Дмитрий. — Я непременно тут, когда малыши выходят с занятий. Наконец-то свободны! Такие они оживленные, столько в них радости! Ощутить бы опять эту радость — хоть на минуту. Я из своего детства не помню ничего — ни минуты. Полная пустота. Скорблю об этой утрате. Детство — оно заземляет. Дает корни в мире. А я как дерево, которое выкорчевало бурей жизни. Понимаете, о чем я? Вашему мальчику повезло — у него есть детство. А у вас? Было у вас детство?

Он, Симон, качает головой.

— Нет, я прибыл полностью взрослым. Увидели меня — и сразу записали в пожилые. Ни детства, ни юности, ни воспоминаний. Смыло начисто.

— Ну, что проку тосковать. У нас по крайней мере есть счастливая возможность быть рядом с молодыми. Может, толика их ангельской пыли и в нас вотрется. Чу! Конец танцам на сегодня. Сейчас будут возносить благодарение. День всегда заканчивается благодарственной молитвой.

Они вместе прислушиваются. В молчание просачивается тихое гудение. А затем двери Академии распахиваются, и дети несутся вниз по лестнице, мальчики и девочки, светленькие и темненькие.

— Дмитрий! Дмитрий! — кричат они, и через мгновение Дмитрий окружен со всех сторон. Он

сует руки в карманы и извлекает горсти конфет, которые швыряет в воздух. Дети бросаются на сладкое. — Дмитрий!

Последними рука об руку появляются сеньора Арройо и, глаза долу, смирен необычайно, Давид — в золотых туфлях.

— До свиданья, Давид! — говорит сеньора Арройо. — Завтра утром увидимся.

Мальчик не отвечает. Когда они садятся в машину, он забирается на заднее сиденье. Через минуту он уже спит — и не просыпается вплоть до самой фермы.

Инес ждет их с сэндвичами и какао. Мальчик ест и пьет.

— Как прошел день? — наконец спрашивает она. Нет ответа. — Ты танцевал? — Он рассеянно кивает. — Покажешь нам потом, как ты танцевал?

Не ответив, мальчик забирается на верхнюю койку и сворачивается клубком.

— Что такое? — шепчет Инес ему, Симону. — Что-то случилось?

Он пытается ее успокоить.

— Просто ошалел немножко, вот и все. Он целый день провел среди незнакомых людей.

После ужина мальчик более разговорчив.

— Ана Магдалена учила нас числам, — говорит он им. — Показала нам Два и Три, и ты, Симон, ошибался, и сеньор Роблес тоже ошибался, вы оба ошибались — числа в небе *есть*. Они там живут, вместе со звездами. Их нужно позвать, и тогда они спустятся.

— Это вам сеньора Арройо сказала?

— Да. Она показала нам, как позвать Два и Три. Один позвать нельзя. Один спускается сам.

— Ты нам покажешь, как позвать эти числа? — говорит Инес.

Мальчик качает головой.

— Нужно танцевать. И нужна музыка.

— А если я включу радио? — спрашивает он, Симон. — Может, там будет музыка, под которую танцевать.

— Нет. Это должна быть особая музыка.

— А что еще сегодня происходило?

— Ана Магдалена дала нам печенье и молоко. И изюм.

— Дмитрий сказал мне, вы молитесь в конце дня. Кому вы молились?

— Это не молитва. Ана Магдалена дает звук арки, и нам нужно с ним сонастроиться.

— Что такое «арка»?

— Я не знаю, Ана Магдалена нам не дала посмотреть, говорит, это тайна.

— Очень загадочно. Я у нее спрошу, когда в следующий раз увижу. Но, судя по всему, день у тебя получился хороший. И все благодаря доброте сердец сеньоры Альмы, сеньоры Консуэло и сеньоры Валентины, что они приняли в тебе участие. Академия Танца, где ты учишься призывать числа со звезд! И где ты получаешь печенье и молоко из рук пригожей дамы! Как же нам повезло, что мы оказались в Эстрелле! Согласен? Представляешь, какой ты везучий? Вот так благодать, чувствуешь?

Мальчик кивает.

— Я-то вот точно чувствую. Думаю, мы, должно быть, самая везучая семья на свете. А теперь пора почистить зубы, лечь спать и хорошенько выспаться, чтобы утром у тебя снова были силы танцевать.

День приобретает новый распорядок. В шесть тридцать он будит мальчика и кормит его завтраком. В семь они уже в машине. На дорогах транспорта немного, и у Академии он высаживает мальчика задолго до восьми. Затем оставляет машину на площади и следующие семь часов безнадёжно скитается в поисках работы, или осматривает квартиры, или — чаще всего — просто сидит в кафе и читает газету, пока не приходит время забрать мальчика домой.

На их с Инес расспросы о том, как проходят его школьные дни, мальчик отвечает кратко и неохотно. Да, ему нравится сеньор Арройо. Да, они разучивают песни. Нет, уроков чтения у них не было. Нет, они не учатся сложению. О таинственной арке, чей звук сеньора Арройо дает в конце дня, он так ничего и не скажет.

— Почему вы каждый раз спрашиваете, что я сегодня делал? — говорит мальчик. — Я же не спрашиваю, что делали вы. Да вы и не понимаете.

— Чего мы не понимаем? — спрашивает Инес.

— Вы ничего не понимаете.

После этого они перестают его допрашивать. Пусть сам расскажет, когда захочет, говорят они себе.

Однажды вечером он, Симон, нечаянно забредает в женское общежитие. Инес, стоя на коленях

на полу, взглядывает на него с неудовольствием. Мальчик, в одних трусах и золотых бальных туфлях, замирает в движении.

— Уходи, Симон! — кричит мальчик. — Тебе нельзя смотреть!

— Почему? На что мне нельзя смотреть?

— Он разучивает нечто сложное, — говорит Инес. — Ему нужно сосредоточиться. Уходи. Закрой дверь.

Удивленный, растерянный, он отступает, но остается послушать за дверью. Ничего не слышно.

Позже, когда мальчик уже засыпает, он спрашивает Инес:

— Что происходит такого личного, чего мне нельзя видеть?

— Он разучивает новые движения.

— Но что в этом секретного?

— Он считает, что ты не поймешь. Он думает, ты над ним посмеешься.

— Если учесть, что мы его отправили в Академию Танца, чего это мне смеяться над тем, что он танцует?

— Он говорит, ты не понимаешь числа. Говорит, ты злой. Злой к числам.

Она показывает ему схему, которую мальчик привез домой: пересекающиеся треугольники, в вершинах — числа. Смысла схемы он не понимает.

— Он говорит, так они учат числа, — говорит Инес. — Через танец.

На следующее утро по дороге в Академию он заводит об этом разговор.

— Инес показала мне твою танцевальную схему, — говорит он. — Что обозначают числа? Это положения твоих ног?

— Это звезды, — говорит мальчик. — Это астрология. Закрываешь глаза, когда танцуешь, и видишь в голове звезды.

— А как же счет? Разве вы с сеньором Арройо не под счет танцуете?

— Нет. Просто танцуем. Танец — то же самое, что счет.

— То есть сеньор Арройо просто играет, а вы просто танцуете. Что-то не попадались мне раньше такие танцевальные уроки. Спрошу у сеньора Арройо, нельзя ли мне побывать у вас на занятиях.

— Нельзя. Тебя не пустят. Сеньор Арройо говорит, что никому нельзя.

— Когда же я посмотрю, как ты танцуешь?

— Посмотри сейчас.

Он смотрит на мальчика. Мальчик сидит неподвижно, глаза закрыты, на губах — едва заметная улыбка.

— Это не танец. Нельзя танцевать, сидя в машине.

— Можно. Смотри. Станцую еще.

Он, Симон, растерянно качает головой. Они приезжают к Академии. Из теней подъезда появляется Дмитрий. Ерошит мальчику гладко причесанные волосы.

— Готов к новому дню?

Глава 7

Рано вставать Инес не нравилось никогда. Однако после трех недель на ферме, где нечего делать — только болтать с Робертой да ждать, когда вернется ребенок, — она однажды утром в понедельник просыпается так рано, что едет вместе с ними в город. Первым делом направляется к парикмахеру. Затем, уже придя в себя, заглядывает в магазин дамской одежды и покупает себе новое платье. Поболтав с кассиршей, узнает, что им нужна продавщица. Не раздумывая, она обращается к хозяйке лавки, и та предлагает ей работу.

Нужда переехать с фермы в город внезапно делается насущной. Инес сама берется искать жилье и за несколько дней находит квартиру. Квартира сама по себе невыразительная, район унылый, однако на пешем расстоянии от центра города, а рядом есть парк, где можно гулять с Боливаром.

Они собирают пожитки. В последний раз он, Симон, уходит в поля. Вечерние сумерки, волшебное время. Птицы чирикают в ветвях, устраиваясь на ночлег. Издали доносится звон овечьих бубенцов. Не зря ли они покидают это цветущее место, которое было к ним так любезно?

Они прощаются.

— Надеюсь увидеть вас на сборе урожая, — говорит Роберта.

— Обещаем, — говорит он, Симон. Сеньоре Консуэло (сеньора Валентина занята, сеньора Альма борется со своими бесами) он говорит: — Не передать словами, как мы благодарны вам и вашим сестрам за щедрость.

На это сеньора Консуэло отвечает:

— Не за что. В другой жизни вы бы сделали то же самое для нас. До свиданья, юный Давид. Будем ждать, когда воссияет твое имя.

В первый вечер в новом доме они вынуждены спать на полу, поскольку заказанную мебель еще не привезли. Утром они покупают кое-какую кухонную утварь. Денег остается немного.

Он, Симон, выходит на почасовую работу, — доставлять рекламные материалы по домам. К работе прилагается велосипед с большой корзиной, прикрученной над передним колесом. Он — один из четверых курьеров (пути с тремя другими у него пересекаются редко), ему предписано обслуживать северо-восточный сектор города. В школьные часы он мотается по улицам своего сектора и распахивает листовки по почтовым ящикам: уроки фортепиано, средства от облысения, стрижка изгородей, ремонт электричества (доступные цены). Это в некотором смысле интересная работа — полезная для здоровья и не неприятная (хотя на крутые улицы велосипед приходится вкатывать). Это способ узнавать город, а также знакомиться с людьми, заводить новые связи. Петушиный клич приводит его ко двору человека, содержаще-

го птицу, человек берется снабжать их курятиной, еженедельно, по цене в пять реалов, а за дополнительный реал готов сам птицу бить и потрошить.

Но зима уже дышит в спину, и он страшится дождливых дней. Хотя ему выдан просторный клеенчатый дождевик и моряцкая клеенчатая шляпа, дождь, тем не менее, все равно просачивается. Его, замерзшего и промокшего, время от времени подмывает выкинуть листовки и вернуть велосипед на стоянку. Искушение велико, но он не поддается. Почему? Он не знает наверняка. Возможно, потому что ощущает определенные обязательства перед городом, который предложил ему новую жизнь, хоть он и не понимает, как город, у которого нет чувств, нет ощущений, может выиграть от раздачи гражданам рекламы наборов столовых приборов на двадцать четыре персоны в красивых подарочных коробках по низкой цене.

Он думает о супругах Арройо, чьему благополучию в малой мере способствует, крутя педали под дождем. Хотя ему еще не выпадала возможность возить рекламу Академии, то, что эта пара предлагает — звездные танцы как замену разучиванию таблицы умножения, — мало чем отличается по сути от предложения лосьона, который чудесным образом возвращает к жизни волосяные луковицы, или от вибрирующего пояса, который чудесным образом растворяет телесный жир, молекулу за молекулой. Как и он сам, и Инес, чета Арройо, скорее всего, приехала в Эстреллу со скудными пожитками; они тоже провели ночь на газетах или чем-то подобном; им тоже приходилось на-

скребать на жизнь, пока не заработала Академия. Может, как и ему самому, сеньору Арройо приходилось какое-то время распихивать листовки по почтовым ящикам; возможно, Ане Магдалене с ее алебастровым ликом приходилось опускаться на колени и мыть полы. Город весь исчерчен тропами иммигрантов: если б не жили они надеждой, если б не вкладывали по толике ее в общую сумму, где бы сейчас была Эстрелла?

Давид приносит домой «Записку родителям». В Академии будет открытый вечер. Сеньор и сеньора Арройо расскажут родителям об образовательной философии Академии, ученики дадут концерт, а затем будут предложены легкие закуски. Родители могут привести с собой интересующихся друзей. Мероприятие начнется в семь.

Публики в тот вечер разочаровывающе мало — человек двадцать, не больше. Многие выставленные стулья остаются пустыми. Заняв места в первом ряду, они с Инес слышат, как юные артисты перешептываются и хихикают за занавесом, задернутым в дальнем углу студии.

В темном вечернем платье и в шали поверх голых плеч появляется сеньора Арройо. Надолго замирает она перед ними в молчании. Он вновь поражен ее изяществом, ее спокойной красотой.

Она говорит:

— Добро пожаловать — и спасибо, что пришли в этот холодный, ненастный вечер. Сегодня я собираюсь рассказать вам немного об Академии и о том, чего, как мы с мужем надеемся, достигнут наши ученики. Для этого необходимо вкратце

обрисовать для вас философию Академии. Тех из вас, кто уже осведомлен, прошу о снисхождении.

Как мы знаем, с самого первого дня нашего прибытия в эту жизнь мы оставляем все предшествующее позади. Мы его забываем. Но не полностью. Кое-что из нашего прежнего существования все же остается: не воспоминания в обычном смысле слова, а то, что можно назвать тенями воспоминаний. Далее, когда мы привыкаем к нашей новой жизни, даже и тени блекнут, куда мы не забываем о своем происхождении полностью и не принимаем то, что видят наши глаза, как единственную возможную жизнь.

Вместе с тем дитя, юное дитя, все еще несет в себе глубокие отпечатки прежней жизни, тени воспоминаний, на выражение которых у него не хватает слов. Слов ему не хватает потому, что, вместе с миром, который мы утратили, утрачен и язык, его описывающий. От того первородного языка остается лишь горсть слов, которые я именую трансцендентными, среди которых названия чисел, *uno, dos, tres* — главнейшие.

Uno-dos-tres — просто ли это считалочка, выученная в школе, бездумный распев, который мы именуем *счетом*, или же это способ прозревать этот распев и видеть то, что за ним, за его пределами, а именно: царство самих чисел, и благородных, и вспомогательных, коих слишком много, не перечесть, как звезд — чисел, рожденных в союзах благородных чисел? Мы — мой супруг, я и наши помощники — считаем, что такой способ есть. Наша Академия привержена ведению душ наших

учеников к этому царству, она стремится сделать их созвучными великому глубинному движению Вселенной — или, как мы предпочитаем называть его, вселенскому танцу.

Чтобы призвать числа вниз оттуда, где они обитают, чтобы позволить им явить себя среди нас, дать им тело, мы обращаемся к танцу. Да, здесь, в Академии, мы танцуем — но не бесстыже, плотски или как попало, а телом и душою совместно — и так воплощаем числа в жизнь. Музыка входит в нас и движет нами в танце — и числа перестают быть всего лишь идеями, всего лишь призраками, они становятся осязаемыми. Музыка пробуждает танец, а танец — музыку: ни то, ни другое не главнее. Поэтому мы и называемся академией музыки в той же мере, что и академией танца.

Если мои сегодняшние слова кажутся вам смутными, дорогие родители, дорогие друзья Академии, это говорит лишь о том, сколь слова бессильны. Слова бессильны — и поэтому мы танцуем. В танце можно призвать числа с вышины, оттуда, где они живут среди равнодушных звезд. Мы отдаемся им в танце, и, когда танцуем, числа в милости своей живут среди нас.

Некоторые из вас — я вижу по вашим лицам — по-прежнему настроены скептически. «О каких таких числах, что обитают среди звезд, она толкует? — говорите вы про себя. — Я разве не пользуюсь числами ежедневно, когда веду дела или покупаю съестное? Не скромные ли слуги нам числа?»

Отвечу: числа, которые вы имеете в виду, числа, которые мы используем при купле-продаже, — не истинные числа, а симулякры. Их я именую муравьиными числами. У муравьев, как мы знаем, нет памяти. Они рождаются из праха и во прах уходят. Сегодня вечером, во второй части нашего представления, вы увидите наших самых юных учеников в роли муравьев, они изобразят возню муравьев, которую мы зовем низшей арифметикой — арифметикой, которую мы применяем для домашних нужд и тому подобного.

Муравьи. Низшая арифметика. Он поворачивается к Инес.

— Ты хоть что-то понимаешь? — шепчет он. Но Инес, сжав губы и сощурившись, пристально наблюдает за Аной Магдаленой и отвечать отказывается.

Краем глаза он примечает полускрытого в тени у дверей Дмитрия. Какой Дмитрию интерес в танце чисел — Дмитрию-медведю? Но его, разумеется, интересуется сама говорящая персона.

— Муравьи по природе своей — законопослушные создания, — говорит Ана Магдалена. — Законы, которым они подчиняются, — законы сложения и вычитания. Они только этим и заняты, денно и нощно, во всякий час бодрствования: выполняют эти свои механические, двоякие законы... У нас в Академии мы законам муравьев не учим. Я знаю, что кое-кто из вас этим обеспокоен, — тем, что мы не учим ваших детей играть в муравьиные игры, складывать числа с числами и тому подобному. Надеюсь, теперь вы понимаете

почему. Мы не хотим, чтобы ваши дети превратились в муравьев... Довольно. Спасибо за внимание. Прошу приветствовать наших артистов.

Она подает знак и отступает в сторону. Дмитрий, облаченный в музейную форму, которая в кои-то веки опрятно застегнута, шагает вперед и отдергивает занавес — сначала левую часть, затем правую. В тот же миг сверху раздаются приглушенные звуки органа.

На сцене видна одинокая фигура — мальчик лет одиннадцати-двенадцати, в золотых туфлях и белой тоге, одно плечо оголено. Руки вскинуты над головой, он смотрит вдаль. Органист — не кто иной, как сеньор Арройо, — проигрывает фанфары, мальчик не меняет позы. Затем, в такт музыке, начинает танец. Танец состоит из скольжений по сцене — то медленных, то стремительных, танцор почти замирает в каждой точке, но никогда не останавливается полностью. Узор танца, связь последующей точки с предыдущей — все смутно, движения мальчика изящны, однако не разнообразны. Он, Симон, вскоре теряет интерес, закрывает глаза и сосредоточивается на музыке.

Верхние ноты органа дребезжат, у нижних нет резонанса. Но сама музыка овладевает им. Нисходит покой: он чувствует, как что-то внутри него — душа? — подхватывает ритм музыки и движется вместе с ним. Он впадает в легкий транс.

Музыка делается сложнее, а затем проще. Он открывает глаза. На сцене появился второй танцор, он очень похож на первого — наверное, младший брат. Он тоже занят скольжением от од-

ной незримой точки к другой. Время от времени их пути пересекаются, но опасности столкновения не возникает. Несомненно, все настолько отрепетировано, что они знают движения друг друга наизусть, и все же кажется, что дело не только в этом — их движение диктует логика, логика, которую он не вполне постигает, хотя чувствует, что вот-вот поймет.

Музыка завершается. Танцоры достигают конечных точек и вновь замирают. Дмитрий задерживает левую часть занавеса, следом — правую. Публика бодро аплодирует, он присоединяется. Инес тоже хлопает.

Вновь выступает вперед Ана Магдалена. Она лучится — он готов в это поверить — благодаря танцу, или музыке, или танцу и музыке вместе: он и в себе ощущает некоторое свечение.

— Вы только что посмотрели Число Три и Число Два, исполненные двумя нашими старшими учениками. Чтобы завершить сегодняшнее представление, наши младшие ученики покажут муравьиный танец, о котором я говорила ранее.

Дмитрий открывает занавес. Перед ними, выстроенные в колонну, стоят восемь детей, мальчиков и девочек, в маечках, шортиках и зеленых шапочках, на которых колышутся антенны, символизируя муравьиность. Давид — во главе колонны.

Сеньор Арройо исполняет на органе марш, подчеркивая механический ритм музыки. Широкими шагами вправо, влево, назад и вперед муравьи перестраиваются из колонны в матрицу из четырех рядов и двух колонн. Четыре такта держат

строй, маршируя на месте, затем перестраиваются в новую матрицу — два ряда и четыре колонны. Остаются в этом строю, маршируют, затем перестраиваются в один ряд. Вновь держат строй, маршируют, затем вдруг рассыпаются и вместе с музыкой, которая уходит с маршевого стаккато и превращается в череду единых тяжелых дисгармоничных аккордов, мечутся по сцене, раскинув руки, как крылья, почти натыкаясь друг на дружку (одно столкновение все же происходит, дети валятся на пол, безудержно хихикая). Затем постоянный ритм марша возобновляется, и муравьи стремительно выстраиваются в исходную колонну.

Дмитрий опускает занавес и стоит рядом, сияя. Аудитория громко хлопает. Музыка не прекращается. Дмитрий вздергивает занавес и являет зрителям муравьев, все еще марширующих колонной. Аплодисменты удвоенной силы.

— Что ты обо всем этом думаешь? — спрашивает он у Инес.

— Что я думаю? Я думаю так: он счастлив — и это главное.

— Согласен. Но как тебе речь? Что ты думаешь...

Встревает Давид: подбегает к ним, покрасневший, взбудораженный, все еще с антеннами на голове.

— Вы меня видели? — требует он ответа.

— Конечно, видели, — говорит Инес. — Мы тобой очень гордимся. Ты был вожаком муравьев.

— Я был вожаком, но муравьи — нехорошие, они только маршируют. Ана Магдалена говорит,

что в следующий раз я смогу станцевать настоящий танец. Но мне придется много репетировать.

— Очень хорошо. Когда будет следующий раз?

— На следующем концерте. Можно мне кусочек торта?

— Сколько хочешь. Не нужно спрашивать. Торт здесь для всех.

Он озирается, ищет сеньора Арройо. Ему интересно познакомиться с этим человеком, выяснить, верит ли он тоже в высшее царство, где обитают числа, или же просто играет на органе, а трансцендентное оставляет жене. Однако сеньора Арройо нигде не видно: мужчины, разбредшиеся по залу, — явно такие же родители, как и он сам.

Инес беседует с одной мамашей. Подзывает его к ним.

— Симон, это сеньора Хернандес. Ее сын — тоже муравей. Сеньора, это мой друг Симон.

Amigo — друг. Прежде Инес его этим словом не называла. Так вот, значит, кто он, кем он стал?

— Изабелла, — говорит сеньора Хернандес. — Пожалуйста, зовите меня Изабеллой.

— Инес, — говорит Инес.

— Я хвалила Инес вашего сына. Он очень уверенный в себе артист, правда?

— Он очень уверенный в себе ребенок, — говорит он, Симон. — Он таким был всегда. Вы наверняка понимаете, до чего непросто его учить.

Изабелла смотрит на него растерянно.

— Он уверен в себе, но его уверенность не всегда обоснована, — продолжает он, уже немного ро-

бея. — Он считает, что располагает силами, каких на самом деле у него нет. Он все еще очень юн.

— Давид сам выучился читать, — говорит Инес. — Он может прочесть «Дон Кихота».

— В сокращении, для детей, — говорит он, — но, да, все верно, он сам научился читать, без посторонней помощи.

— Здесь, в Академии, на чтение не очень-то обращают внимание, — говорит Изабелла. — Они говорят, что чтением займутся позже. Пока дети маленькие — только танец. Музыка и танец. И все-таки она убедительна, правда? Ана Магдалена. Складно говорит. Вам не показалось?

— А про вот это высшее царство, откуда числа нисходят к нам, про священное Число Два и священное Число Три — вы про это поняли? — говорит он.

Маленький мальчик — очевидно, сын Изабеллы, — подбирается к ним бочком, губы окольцованы шоколадом. Она добывает салфетку и вытирает ему рот, чему он терпеливо подчиняется.

— Давай уже снимем эти смешные уши и отдадим их Ане Магдалене, — говорит она. — Не пойдешь же ты домой, как насекомое.

Вечер завершается. Ана Магдалена встает у дверей, прощается с родителями. Он пожимает ей прохладную руку.

— Прошу передать мою благодарность сеньору Арройо, — говорит он. — Мне жаль, что не удалось с ним познакомиться. Он прекрасный музыкант.

Ана Магдалена кивает. На мгновение взгляд ее голубых глаз встречается с его. «Она видит меня

насквозь, — думает он, вздрагивая. — Видит насквозь — и я ей не нравлюсь».

Ему обидно. Он к такому не привык — не нравиться, тем более не нравиться безосновательно. Но, возможно, здесь ничего личного. Вероятно, этой женщине не нравятся все отцы ее учеников — как соперники ее авторитету. Или, быть может, она просто не любит мужчин — всех, за исключением незримого Арройо.

Что ж, если он ей не нравится, она ему тоже не нравится. Это его удивляет: женщины ему неприятны редко, в особенности красивые. А эта женщина красива, несомненно, — той особой красотой, что выдерживает и пристальное разглядывание: безупречные черты, безупречная кожа, безупречная фигура, безупречная осанка. Она красива — и при этом его отталкивает. Пусть она и замужем, но он, тем не менее, связывает ее с лунной и ее холодным светом, с жестоким, суровым целомудрием. Разумно ли доверять ей их мальчишка — любого мальчишка или девочку, вообще говоря? А что, если к концу года ребенок выйдет из ее хватки таким же холодным и суровым, как она сама? Ибо таково его о ней суждение — о ее религии звезд и геометрической эстетике танца. Бескровной, бесполой, безжизненной.

Мальчик уснул на заднем сиденье машины, налопавшись торта с лимонадом. И все же он, Симон, опасается излагать свои мысли Инес: даже в самом глубоком сне этот ребенок будто бы слышит, что происходит вокруг. И потому он придерживает язык, пока ребенка не укладывают в постель.

— Инес, ты уверена, что мы правильно поступили? — говорит он. — Не стоит ли нам поискать другую школу, несколько менее... радикальную?

Инес не говорит ни слова.

— Я лекцию сеньоры не понял нисколько, — продолжает он. — А то, что понял, видится мне чуточку безумным. Она не учитель — она проповедник. Они с мужем создали религию и теперь гонятся за послушниками. Давид слишком юн, слишком впечатлителен, чтобы иметь с таким дело.

Инес заговаривает:

— Когда я была учительницей, у нас был сеньор почтальон *C*, который посвистывает, а также кот *el G*, который мурчит, и *el T* — поезд, который гудит. Каждая буква имела личность и собственный звук. Мы придумывали слова, складывая рядом буквы. Так маленьких детей учат читать и писать.

— Ты была учительницей?

— Мы когда-то вели занятия в «Ла Резиденсии» — для детей челяди.

— Ты мне никогда не рассказывала.

— У каждой буквы алфавита был характер. Она придает числам характер — Ана Магдалена. *Uno, dos, tres*. Оживляет их. Так учат маленьких детей. Это не религия. Я пошла спать. Спокойной ночи.

Пятеро учеников Академии — пансионеры, остальные приходят из дома. Пансионеры живут с Арройо, потому что они из других округов провинции и им слишком далеко ездить. Эти пятеро,

вместе с молодым воспитателем и двумя сыновьями сеньора Арройо, обедают как следует — им готовит Ана Магдалена. Приходящие ученики приносят обед с собой. Каждый вечер Инес собирает Давиду обед на следующий день и кладет его в холодильник: сэндвичи, яблоко или банан и какое-нибудь лакомство — шоколадку или печенье.

Однажды вечером она собирает Давиду обед, и мальчик заговаривает:

— Некоторые девочки в школе не едят мясо. Говорят, что это жестоко. Это жестоко, Инес?

— Не будешь есть мясо — не будешь сильным. Не вырастешь.

— Но это жестоко?

— Нет, это не жестоко. Животные ничего не чувствуют, когда их убивают. У них нет таких чувств, как у нас.

— Я спрашивал сеньора Арройо, жестоко это или нет, и он сказал, что, раз животные не умеют силлогизмы, это не жестоко. Что такое силлогизмы?

Инес ошарашена. Встревает он, Симон.

— Думаю, он имел в виду, что животные не умеют мыслить логически — в отличие от нас. Они не способны строить логические цепочки. Они не понимают, что их ведут на убой, даже когда все на это указывает, и потому не боятся.

— Но это больно?

— Убой? Нет — если мясник умелый. То же и с врачами — не больно, если доктор умелый.

— То есть это не жестоко, да?

— Нет, это не очень-то жестоко. Большой, сильный вол едва чувствует. Для вола это все рав-

но что укол булавкой. А дальше вообще никаких чувств.

— Но почему они должны умирать?

— Почему? Потому что они, как мы. Мы смертны, они тоже, а смертным существам положено умирать. Вот что имел в виду сеньор Арройо, когда шутил про силлогизмы.

Мальчик раздраженно мотает головой.

— Почему они должны умирать, когда дают нам мясо?

— Потому что так получается, если разрезать животное на части: оно умирает. Если отрезать ящерице хвост, у нее отрастет новый. Но вол — не ящерица. Если отрезать волу хвост, новый не отрастет. Если отрезать ему ногу, вол истечет кровью. Давид, я не хочу, чтобы ты чересчур много про это думал. Волы — хорошие создания. Они желают нам добра. На их языке они говорят вот что: «Если юному Давиду нужна моя плоть, чтобы вырасти сильным и здоровым, я с радостью отдам ее ему». Правда, Инес?

Инес кивает.

— Тогда почему мы не едим людей?

— Потому что это отвратительно, — говорит Инес. — Вот почему.

Глава 8

Поскольку Инес никогда прежде не проявляла интереса к моде, он не уверен, что она задержится в «Модас Модернас». Но он заблуждается. Она млеет от своих успехов продавщицы — в особенности у великовозрастной клиентуры, которой нравится терпеливость Инес. Она отказывается от гардероба, привезенного из Новиллы, и сама начинает носить новомодное, купленное со скидкой или взятое напрокат в магазине.

С хозяйкой магазина Клаудией, женщиной примерно ее лет, у них быстро завязывается дружба. Они вместе обедают в кафе за углом или покупают сэндвичи и едят их в подсобной комнате, где Клаудиа изливает ей душу о своем сыне, который связался с дурной компанией и того и гляди вылетит из школы; рассказывает, чуть менее подробно, и о своем непутевом муже. Облегчает ли душу сама Инес, об этом Инес не говорит — по крайней мере, ему, Симону.

Готовясь к новому сезону, Клаудиа отправляется в торговую экспедицию в Новиллу, а Инес оставляет в магазине за старшую. Ее внезапное продвижение по службе вызывает у кассирши Инносентии бешенство — та работает в «Модас

Модернас» с самого открытия. Возвращение Клаудии — большое облегчение.

Он, Симон, еженощно выслушивает истории Инес о взлетах и падениях моды, о сложных или чрезмерно придирчивых клиентах, о неожиданном соперничестве Инносентии. О непритязательных приключениях, какие достаются ему в разъездах, Инес знать не любопытно.

В следующую поездку в Новиллу Клаудиа приглашает Инес с собой. Инес спрашивает его, Симона, что он думает. Ехать ей? А что, если ее опознает и схватит полиция? Он над ее страхами смеется. По шкале опасности, говорит он, преступление, заключающееся в содействии несовершеннолетнему прогульщику и поощрении его, уж точно где-то ближе к нижним отметкам. Дело Давида уже теперь наверняка похоронено под горами других дел, а если и нет, полиции наверняка есть чем заняться, помимо прочесывания улиц в поисках родителей-правонарушителей.

И Инес принимает предложение Клаудии. Они уезжают на ночном поезде в Новиллу и проводят день у оптовика на складе в промышленном квартале города — отбирают товар. В перерыве Инес звонит в «Ла Резиденсию» и разговаривает со своим братом Диего. Без всяких вступлений Диего требует вернуть автомобиль (называет его «мой автомобиль»). Инес отказывает, но предлагает заплатить полцены, чтобы Диего оставил машину ей. Он просит две трети, но она упирается, и он сдается.

Она просит передать трубку другому брату — Стефано. Стефано больше нет в «Ла Рези-

денсии», уведомляет ее Диего. Он уехал в город жить со своей девушкой, которая ждет от него ребенка.

Из-за отъезда Инес по делам «Модас Модернас» присматривать за Давидом достается ему, Симону. Он теперь не только водит ребенка в Академию утром и забирает оттуда вечером — он же готовит ему еду. Его кулинарные способности — в зачатке, но, к счастью, мальчик теперь вечно голодный и потому ест все, что перед ним положат. Он поглощает громадные порции картофельного пюре с зеленым горошком и ждет не дождется жареной курицы по выходным.

Он быстро растет. Высоким ему не быть никогда, но руки и ноги у него крепкие, а энергия безгранична. После школы он несется играть в футбол с другими мальчиками из их квартала. Хоть он среди них и самый юный, однако решителен и крепок, и его уважают мальчики постарше, покрупнее. Его стиль бега — плечи ссутулены, голова вперед, локти прижаты к бокам — несколько эксцентричен, однако мальчик шустёр, и с ног его не собьешь.

Поначалу он, Симон, пока мальчик играл, держал Боливара на поводке — опасался, что пес может ринуться на поле и напасть на кого-нибудь, кто угрожает его юному хозяину. Однако Боливар вскоре понимает, что беготня за мячом — просто игра, человеческая игра. И теперь готов спокойно сидеть у боковой линии: безразличный к футболу, он наслаждается мягким солнечным теплом и богатой смесью запахов в воздухе.

По словам Инес, Боливару семь лет, однако он, Симон, подумывает, не старше ли пес. Очевидно, пришла поздняя пора его жизни, пора угасания. Боливар располнел; хоть он и полноценный самец, к сукам он, кажется, потерял интерес. Стал менее общительным — другие собаки его побаиваются. Ему достаточно приподнять голову и глухо зарычать, и они уже наутек.

Он, Симон, — единственный зритель этих сварливых футбольных поединков по вечерам, игр, постоянно прерывающихся на споры между игроками. Однажды к нему обращается делегация старших мальчиков — приглашает в судьи. Он отказывается: «Я слишком стар и не в форме», — говорит он. Это не вполне правда, однако задним числом он рад, что отказался, и думает, что Давид, скорее всего, тоже рад.

Он размышляет, кем его считают эти мальчишки из их квартала: отцом Давида? Дедушкой? Дядей? Какую историю рассказал им сам Давид? Что человек, который наблюдает за их играми, живет в одной квартире с ним и с его матерью, но спит при этом отдельно? Гордится им Давид или стыдится его — или гордится и стыдится? Или же этот шестилетка — скоро семилетка — слишком юн для двояких чувств?

По крайней мере пса уважают. Когда они впервые пришли с собакой на игру, мальчишки собрались вокруг нее в кружок.

— Его зовут Боливар, — объявил Давид. — Он — овчарка. Не кусается. — Овчарка Боливар

спокойно смотрел вдаль, позволяя мальчишкам собой любоваться.

В их квартире он, Симон, ведет себя скорее как постоялец, нежели как равный член семьи. Он старается содержать свою комнату в порядке и чистоте. Не оставляет туалетных принадлежностей в ванной, а пальто — на вешалке у дверей. Как его место в своей жизни Инес объясняет Клаудии и прочему миру, он не ведает. Она совершенно точно не обозначает его — в его присутствии — как мужа; если ей удобнее представлять его как мужчину-постояльца, он только рад ей подыграть.

Инес — женщина трудная. Тем не менее, он, оказывается, все больше ею восхищается — и чувствует, как растет в нем обожание. Кто бы мог подумать, что она бросит «Ла Резиденсию», легкую тамошнюю жизнь и посвятит себя целиком судьбе этого капризного ребенка!

— А мы семья — ты, Инес и я? — спрашивает мальчик.

— Конечно, семья, — прилежно отвечает он. — Семьи бывают разных видов. Мы — один из видов семьи.

— А нам надо быть семьей?

Он решил не поддаваться раздражению, принимать вопросы мальчика серьезно — даже когда они праздные.

— Если б захотели, мы могли бы стать меньшей семьей. Я мог бы съехать и найти себе свое жилье, видаться с тобой лишь время от времени. Или Инес могла бы влюбиться, выйти замуж и за-

брать тебя жить с ее новым мужем. Но этими путями никто из нас идти не хочет.

— У Боливара нет семьи.

— Его семья — мы. Мы заботимся о Боливаре, а Боливар — о нас. Но нет, ты прав, у Боливара семьи — собачьей семьи — нету. Когда он был маленький, семья у него была, но потом он вырос, и оказалось, что семья ему больше не нужна. Боливар предпочитает жить самостоятельно и иногда видется с другими собаками, на улице. Ты сможешь принять похожее решение, когда вырастешь: жить самостоятельно, без семьи. Но пока ты еще юн, тебе нужна наша забота. Поэтому твоя семья — мы: Инес, Боливар и я.

«Если б захотели, мы могли бы стать меньшей семьей». Через два дня после этого разговора мальчик объявляет ни с того ни с сего, что хочет переселиться в Академию.

Он, Симон, пытается его отговорить.

— С чего бы тебе переселяться в Академию, когда тебе здесь так хорошо живется? — говорит он. — Инес будет ужасно скучать по тебе. Я буду по тебе скучать.

— Инес по мне скучать не будет. Инес меня не признаёт.

— Конечно, признаёт.

— А говорит, что нет.

— Инес тебя любит. Всем сердцем.

— Но она меня не признаёт. Сеньор Арройо меня признаёт.

— Если ты пойдешь жить к сеньору Арройо, у тебя больше не будет своей комнаты. Ты будешь

спать в общежитии с другими детьми. Когда тебе посреди ночи станет одиноко, тебя некому будет утешить. Сеньор Арройо и Ана Магдалена к себе в постель тебя уж точно не пустят. На ужин у тебя будут морковка и цветная капуста, которые ты терпеть не можешь, а не картофельное пюре с подливой. А Боливар как же? Боливар не поймет, что случилось. «Где мой юный хозяин? — скажет Боливар. — Почему он меня бросил?»

— Боливар сможет меня навещать, — говорит мальчик. — Ты его будешь приводить.

— Это серьезное решение — стать пансионером. Может, отложим до следующей четверти и поразмыслим над этим хорошенько?

— Нет. Я хочу быть пансионером сейчас.

Он разговаривает с Инес.

— Я не знаю, что там наобещала ему Ана Магдалена, — говорит он. — Мне кажется, это скверная мысль. Он еще слишком юн, чтобы жить не дома.

К его изумлению, Инес не возражает.

— Пусть уезжает. Он скоро запросится обратно. Будет ему урок.

Такого он от нее совсем не ожидал — что она уступит чете Арройо своего драгоценного сына.

— Это выйдет дорого, — говорит он. — Давай хотя бы обсудим это с сестрами, посмотрим, что они скажут. В конце концов, это их деньги.

Хотя в эстрелльскую резиденцию к сестрам их не приглашают, они старательно поддерживают связь с Робертой и время от времени навещают ферму, когда сестры там, — отдают долж-

ное их щедрости. Во время этих визитов Давид необычайно разговорчив об Академии. Сестры выслушивают его рассуждения о благородных и вспомогательных числах, он показывает им некоторые движения из танцев попроще — из Двух и Трех, танцев, которые, если исполнены верно, призывают со звезд соответствующие благородные числа. Их очаровывает его физическое изящество, впечатляет серьезность, с которой он излагает необычное учение Академии. Но в этот раз мальчику предстоит новое испытание: объяснить сестрам, зачем ему переселяться из дома в Академию.

— Ты уверен, что у сеньора и сеньоры Арройо есть для тебя место? — спрашивает Консуэло. — Насколько я понимаю, — поправьте меня, Инес, если я ошибаюсь, — их всего двое, и у них изрядно постояльцев, вдобавок к собственным детям. Что тебе не нравится в жизни дома с родителями?

— Они меня не понимают, — говорит мальчик.

Консуэло и Валентина переглядываются.

— «Мои родители меня не понимают», — задумчиво говорит Консуэло. — Где я это последний раз слышала? Умоляю, молодой человек: скажите мне, почему это так важно — чтобы родители вас понимали? Вам мало того, что они просто хорошие родители?

— Симон не понимает числа, — говорит мальчик.

— Я тоже не понимаю числа. Этим у нас занимается Роберта.

Мальчик молчит.

— Ты хорошо все обдумал, Давид? — спрашивает Валентина. — Все решил? Ты уверен, что через неделю у Арройо не передумаешь и не согласишься домой?

— Я не передумаю.

— Хорошо, — говорит Консуэло. Взглядывает на Валентину, на Альму. — Будь по-твоему, переселяйся в Академию. Плату мы с сеньорой Арройо обсудим. Но твои жалобы на родителей — что они тебя не понимают — задевают нас. Мне кажется, это чересчур: требовать от них, чтобы они не только были хорошими родителями, но еще и понимали тебя. Я вот уж точно тебя не понимаю.

— Я тоже, — говорит Валентина. Альма молчит.

— Ты не собираешься поблагодарить сеньору Консуэло, сеньору Валентину и сеньору Альму? — говорит Инес.

— Спасибо, — говорит мальчик.

Наутро Инес едет не в «Модас Модернас», а сопровождает их в Академию.

— Давид говорит, что хочет стать пансионером, — сообщает она Ане Магдалене. — Я не знаю, кто его надоумил, и не прошу вас говорить мне это. Просто скажите, есть ли у вас для него место?

— Это правда, Давид? Ты хочешь жить с нами?

— Да, — говорит мальчик.

— А вы, сеньора, против? — спрашивает Ана Магдалена. — Если вы против, почему просто не сказать «нет»?

Она обращается к Инес, но отвечает он, Симон.

— Мы не против этого его желания по той простой причине, что у нас нет на это сил, — говорит он. — С нами Давид всегда добивается своего, так или иначе. Такая уж у нас семья: один господин и двое слуг.

Инес это забавным не кажется. Ане Магдалене — тоже. Но Давид безмятежно улыбается.

— Девочкам нравится надежность, — говорит Ана Магдалена. — С мальчиками иначе. Для мальчиков — для некоторых мальчиков — отъезд из дома означает большое приключение. Однако, Давид, должна тебя предупредить: если ты переедешь жить к нам, господином ты больше не будешь. У нас дома господин — сеньор Арройо, а мальчики и девочки слушают, что он говорит. Принимаешь такие условия?

— Да, — говорит мальчик.

— Но только на будние дни, — говорит Инес. — На выходных он будет дома.

— Я составлю список вещей, которые нужно будет привезти вместе с ним, — говорит Ана Магдалена. — Не волнуйтесь. Если увижу, что ему одиноко и он тоскует по родителям, я вам позволю. Алеша за ним тоже приглядит. Алеша к такому чуток.

— Алеша, — говорит он, Симон. — Кто такой Алеша?

— Алеша — человек, приглядывающий за пансионерами, — говорит Инес. — Я тебе говорила. Ты не слушал, что ли?

— Алеша — молодой человек, который нам помогает, — говорит Ана Магдалена. — Он — вос-

питанник Академии, он знает, как у нас все принято. Пансионеры — его особая обязанность. Он с ними питается, у него своя комната в общежитии. Он очень чуткий, добродушный и сочувствующий. Я вас с ним познакомлю.

Превращение приходящего ученика в проживающего оказывается проще некуда. Инес покупает маленький чемодан, куда складывает немногие туалетные принадлежности и смену одежды. Мальчик добавляет «Дон Кихота». Наутро он как ни в чем не бывало целует Инес на прощанье и идет вместе с ним, с Симоном, таща за собой чемодан.

Дмитрий, как обычно, встречает их в дверях.

— А, юный господин собирается здесь поселиться, — говорит Дмитрий, забирая у мальчика чемодан. — Великий день, это уж точно. День песен, плясок и забоя откормленного теленка¹.

— До свиданья, мой мальчик, — говорит он, Симон. — Будь умницей, увидимся в пятницу.

— Я умница, — говорит мальчик. — Я всегда умница.

Он смотрит, как Дмитрий с мальчиком уходят вверх по лестнице. И, следуя порыву, идет за ними. Он оказывается в студии как раз вовремя, чтобы увидеть, как мальчик бредет в жилую часть, рука об руку с Аной Магдаленой. Скорбь утраты накатывает на него, как туман. Наворачиваются слезы, которые он втуне пытается скрыть.

Дмитрий сочувственно обнимает его за плечи.

— Успокойтесь, — говорит Дмитрий.

¹ Лк 15:23, парафраз.

Он не успокаивается, а, наоборот, раздражается рыданиями. Дмитрий прижимает его к груди; он не сопротивляется. Позволяет себе всхлипнуть — раз, другой, третий, вдыхая глубоко и судорожно запахи табака и саржи. «Я отпускаю, — думает он. — Я отпускаю. Это простительно — отцу».

Приходит время, и слезы высыхают. Он высвобождается из объятий Дмитрия, прокашливается, шепчет слово, которое мыслится как благодарное, однако выбирается наружу бульканьем, и он, Симон, сбегает по лестнице.

В тот вечер дома он рассказывает Инес об этом происшествии — которое задним числом видится все страннее и страннее — даже не страннее, а нелепее.

— Я не знаю, что на меня нашло, — говорит он. — В конце концов, ребенка же не отняли и не заперли в тюрьму. Если ему станет одиноко, если он не поладит с этим Алешей, он может, как Ана Магдалена сказала, вернуться домой — за полчаса. Чего же я тогда так убивался? И на виду у Дмитрия — подумать только! У Дмитрия!

Но Инес где-то витает.

— Надо было положить ему теплую пижаму, — говорит она. — Я тебе дам с собой, отнесешь завтра?

Наутро он вручает Дмитрию пижаму в буром бумажном пакете, на котором написано имя Давида.

— Теплая одежда, от Инес, — говорит он. — Давиду не отдавайте, он слишком рассеянный. Отдайте Ане Магдалене — или, еще лучше, тому

молодому человеку, который смотрит за пансионерами.

— Алеше. Передам ему, так точно.

— Инес беспокоится, что Давид может мерзнуть по ночам. Такая у нее натура — тревожная. Кстати, позвольте извиниться за сцену, которую я вчера устроил. Не знаю, что на меня нашло.

— Это любовь, — говорит Дмитрий. — Вы любите этого мальчика. И вас убило смотреть, как он отвернулся от вас вот эдак.

— Отвернулся? Вы не поняли. Давид от нас не отворачивался. Жизнь в Академии — это временное, это каприз, эксперимент. Когда ему надоест или станет грустно — вернется домой.

— Родителям всегда больно, когда их молодежь вылетает из гнезда, — говорит Дмитрий. — Это естественно. У вас мягкое сердце, я же вижу. У меня тоже сердце мягкое, невзирая на суровый вид. Не нужно стыдиться. Это у нас в природе — и у вас, и у меня. Мы такими родились. Мы — тюфяки. — Он ухмыляется. — Не то что у этой вашей Инес. *Un corazón de cuero*.

— Вы не понимаете, о чем толкуете, — сухо говорит он, Симон. — Нет более приверженной матери, чем Инес.

— *Un corazón de cuero*, — повторяет Дмитрий. — Кожаное сердце. Не верите мне — погодите, сами увидите.

Он, Симон, растягивает свой дневной веломаршрут как может, жмет на педали медленно, тянет время на перекрестках. Вечер зияет перед ним, как пустыня. Он находит бар и заказывает

vino de raja, простое вино, которое полюбил еще на ферме. Когда настает пора уходить, чувствует себя приятно одурманенным. Но тяжкий сумрак вскоре возвращается. «Нужно чем-то заняться! — говорит он себе. — Нельзя так жить — убивать время!»

«*Un corazón de cuero*». Уж кто суров сердцем, так это Давид, а не Инес. В любви Инес к ребенку — и в его к нему любви — сомнений нет. Но хорошо ли это для ребенка, что они из любви так легко потворствуют его желаниям? Может, в общественных институтах имеется некая слепая мудрость. Может, не как с маленьким принцем нужно с мальчиком обращаться, а вернуть его в государственную школу, и пусть учителя его укрощают, превращают в общественное животное.

Голова у него болит, он возвращается в квартиру, запирается у себя в комнате и засыпает. Когда просыпается вечером, Инес уже дома.

— Прости, — говорит он. — Я устал и ужин не приготовил.

— Я уже поела, — говорит Инес.

Глава 9

В последующие недели хрупкость их домашнего устройства становится все более очевидной. Попросту говоря, теперь, когда ребенка в доме не стало, им с Инес незачем жить вместе. Им нечего друг другу сказать, у них почти ничего общего. Инес заполняет тишину болтовней о «Модас Модернас», а он ее почти не слушает. Когда не занят своими велосипедными разездами, он сидит у себя в комнате, читает газету или дремлет. Он не ходит по магазинам, не готовит. Инес теперь задерживается допоздна — он полагает, с Клаудией, хотя Инес никак не объясняется. Лишь когда мальчик навещает их по выходным, их жизнь хоть как-то смахивает на семейную.

Однажды в пятницу он приезжает в Академию за мальчиком, но обнаруживает запертую дверь. После долгих поисков он ловит Дмитрия в музее.

— Где Давид? — требует он, Симон, ответа. — Где все дети? Где Арройо?

— Они уехали купаться, — говорит Дмитрий. — Они вам не сказали? Они уехали на озеро Кальдерон. Это подарок пансионерам — погода-то потеплела. Я бы тоже поехал, но увы, у меня обязанности.

— Когда они вернутся?

— Если с погодой повезет — в воскресенье вечером.

— В воскресенье!

— В воскресенье. Не волнуйтесь. Ваш мальчик прекрасно проведет время.

— Но он не умеет плавать!

— Озеро Кальдерон — самый спокойный водоем на всем белом свете. Никто в нем ни разу не утонул.

Этой новостью он встречает Инес, когда та возвращается домой: мальчик уехал на озеро Кальдерон на пикник, и в эти выходные они его не увидят.

— А где это озеро Кальдерон? — спрашивает она.

— В двух часах езды на север. Со слов Дмитрия, Кальдерон — это учебный опыт, который нельзя упустить. Детей вывозят на лодке со стеклянным дном, чтобы посмотреть на подводную жизнь.

— Дмитрий. Теперь, значит, Дмитрий у нас специалист в образовании.

— Мы можем поехать на озеро Кальдерон прямо с утра, если хочешь. Чтобы убедиться, что все в порядке. Можем повидаться с Давидом и, если ему там не нравится, привезем обратно.

Так они и поступают. Едут на озеро Кальдерон вместе с Боливаром, который дремлет на заднем сиденье. Небо безоблачно, день обещает быть жарким. Они пропускают съезд с трассы; когда подъезжают к маленькому поселению рядом с озером, уже полдень; в деревне всего один постоялый двор и одна лавка, торгующая мороженым,

пластиковыми сандалиями, рыбацким снаряжением и наживкой.

— Я ищу место, куда возят школьные группы, — говорит он девушке за стойкой.

— *El centro recreativo*. Вам дальше по дороге вдоль берега. Примерно километр отсюда.

El centro recreativo — низкое приземистое здание у песчаного пляжа. На пляже развлекается множество людей, мужчин и женщин, взрослых и детей — все нагишом. Ану Магдалену легко различить даже на расстоянии.

— Дмитрий ни о чем таком не говорил — тут нудизм, — говорит он Инес. — Что будем делать?

— Ну, я уж точно раздеваться не собираюсь, — отвечает она.

Инес — миловидная женщина. Ей своего тела стесняться нет причин. Не произносит же вслух она вот чего: «Я не собираюсь раздеваться у тебя на глазах».

— Тогда давай я, — говорит он. Собаку выпускают, она скачет к пляжу, а он забирается на заднее сиденье и там снимает с себя всю одежду.

Внимательно вышагивая по камням, он добирается до песка в тот миг, когда причаливает полная лодка детей. Молодой человек с копной темных как вороново крыло волос держит лодку, пока дети вылезают на берег, плещась в мелкой воде, визжа и смеясь, все голые, Давид — среди них. Мальчик, узнав его, столбенеет.

— Симон! — выкрикивает он и бежит к нему. — Знаешь что, Симон! Мы видели угря, он ел детку-угря, и деткина голова торчала у боль-

шого угря изо рта, это так смешно, ты бы видел! И еще рыб, много-много рыб видели. И крабов. Всё. А где Инес?

— Инес ждет в машине. Ей нездоровится, голова болит. Мы приехали узнать, какие у тебя планы. Хочешь поехать с нами домой или останешься?

— Я хочу остаться. А можно Боливар тоже?

— Вряд ли. Боливар к новым местам не привык. Он может уйти и потеряться.

— Он не потеряется. Я за ним присмотрю.

— Ну не знаю. Обсужу с Боливаром и пойму, что он сам хочет.

— Ладно. — Не говоря больше ни слова, мальчик разворачивается и скачет обратно к друзьям.

Мальчику, похоже, не странно, что он, Симон, стоит перед ним голый. И, конечно, среди всех этих нагих людей, молодых и старых, его робость тоже быстро испаряется. Но он сознает, что избегает впрямую смотреть на Ану Магдалену. Почему? Почему именно перед ней он сознает свою наготу? Полового чувства у него к ней нет. Он просто ей не ровня, ни в половом смысле, ни в каком ином. И все же всякий раз, когда он пытается посмотреть на нее впрямую, что-то выстреливает у него из глаз, словно стрела, стальная и безошибочная, что-то, чего он не может допустить.

Он ей не ровня, в этом он не сомневается. Если б у нее были завязаны глаза, а сама она выставлена на обозрение, как статуи у Дмитрия в музее или как звери в клетках в зоопарке, он бы часами глазел на нее, замороженный, восхищенный без-

упречностью, какую она являет в особых тварных очертаниях. Но дело не только в этом, совсем. Дело не только в том, что она молода, полна жизни, а он стар и потрепан, и не только в том, что она, так сказать, вырезана из мрамора, а он, так сказать, слеплен из глины. Почему так сразу пришло на ум вот это — *не ровня?* В чем же глубинное различие между ними, которое он чувствует, но не может определить?

За его спиной слышен голос, ее голос:

— Сеньор Симон. — Он оборачивается и неохотно поднимает взгляд.

У нее на плечах песчаная пыль, груди ее розовы, обожжены солнцем, в паху — клочок меха, светлейшего бурого оттенка, такой редкий, что его почти не видно.

— Вы один? — спрашивает она.

Высокие плечи, долгая талия. Длинные ноги, мускулистые — ноги танцорши.

— Нет. Инес ждет в машине. Мы забеспокоились о Давиде. Нам ничего об этом выезде не сказали.

Она хмурится.

— Но мы разослали всем родителям оповещение. Вы не получали?

— Я никакого оповещения не видел. В любом случае хорошо, что все в порядке. Детям, судя по всему, нравится. Когда вы повезете их назад?

— Мы пока не решили. Если погода будет хорошая, останемся, может, на все выходные. Вы знакомы с моим мужем? Хуан, это сеньор Симон, отец Давида.

Сеньор Арройо, маэстро музыки и директор Академии Танца: не так он рассчитывал с ним знакомиться — не нагишом. Крупный мужчина — не толстый, не вполне, однако уже не юный: плоть его от шеи и груди до живота уже начала обвисать. Кожа — всего тела, даже лысого черепа — равномерно краснокирпичная, словно солнце — естественная его стихия. Видимо, поездка на пляж — его идея.

Они жмут друг другу руки.

— Это ваша собака? — спрашивает сеньор Арройо, маша рукой.

— Да.

— Красивый зверь. — Голос у него низкий и добродушный. Они вместе созерцают красивого зверя. Боливар же пялится на воду и не обращает на них внимания. Пара спаниелей приближается к нему, поочередно обнюхивая ему гениталии; обнюхать спаниелей Боливар не снисходит.

— Я объяснял вашей супруге, — говорит он, Симон. — В результате какого-то сбоя в общении мы об этом выезде заранее не знали. Мы думали, Давид будет на выходных дома, как обычно. Потому и приехали сюда. Немного забеспокоились. Но все в порядке, как я вижу, и мы сейчас уедем.

Сеньор Арройо смотрит на него с несколько игривой улыбкой. Он не говорит: «Сбой в общении? Объяснитесь, пожалуйста». Он не говорит: «Простите, что зря скатались». Он не говорит: «Не желаете ли остаться на обед?» Он ничего не говорит. Никакой болтовни о пустяках.

Даже веки у него, судя по всему, пропеклись. А глаза — голубые, светлее даже, чем у его жены.

Он, Симон, собирается с мыслями.

— Позвольте спросить: как у Давида дела с учебой?

Тяжелая голова кивает раз, другой, третий. А вот и отчетливая улыбка.

— У вашего сына — как бы выразиться? — уверенность в себе, редкая для человека столь юного. Он не боится приключений — приключений ума.

— Нет, не боится. И поет к тому же хорошо. Я сам не музыкант, но слышу.

Сеньор Арройо возносит руку и томно отмахивается от этих слов.

— Вам все удалось, — говорит он. — Вы же тот, кто взял на себя ответственность его растить. Так он мне говорит.

Сердце его ликует. Так вот, значит, что мальчик говорит другим людям: что он, Симон, тот, кто его вырастил!

— У Давида было пестрое образование, если можно так сказать, — говорит он. — Вы говорите, что он уверен в себе. Так и есть. Временами более чем. Он бывает упрямым. С некоторыми учителями ему это не сошло с рук. Но к вам и к сеньоре Арройо он питает глубочайшее уважение.

— Ну, если так, нам необходимо очень стараться, чтобы его заслуживать.

Он и не замечает, как сеньора Арройо, Ана Магдалена, успела ускользнуть. Она вновь появляется в поле его зрения, уходит вдоль берега,

высокая, изящная, а вокруг нее резвится стайка голой детворы.

— Мне пора, — говорит он. — До свиданья. — А затем: — Числа, два, три и так далее — я все пытаюсь понять вашу систему. Лекцию сеньоры Арройо я слушал внимательно, расспрашиваю Да-вида, но, признаюсь, мне все еще трудно.

Сеньор Арройо скидывает бровь и ждет.

— Счет в моей жизни значительной роли не играет, — упорствует он, Симон. — В смысле, я считаю яблоки и апельсины, как и все остальные. Я считаю деньги. Я складываю и вычитаю. Муравьиная арифметика, о которой ваша жена говорила. Но танец двух, танец трех, благородные и вспомогательные числа, призыв со звезд — вот это все ускользает от меня. Вы в обучении дальше двух и трех заходите? Дети когда-нибудь берутся за настоящую математику — за икс, игрек и зет? Или это все погода?

Сеньор Арройо молчит. Полуденное солнце лупит их сверху.

— Не дадите ли подсказку, за что уцепиться? — говорит он, Симон. — Я желаю понять. Искренне. Я искренне желаю понять.

Сеньор Арройо говорит:

— Вы желаете понять. Вы обращаетесь ко мне, словно я — мудрец Эстрелльский, человек, у которого есть все ответы. А я — не мудрец. И ответов для вас у меня нет. Но позвольте сказать пару слов об ответах вообще. По моему мнению, вопрос и ответ ходят вместе, как небеса и земля или как мужчина и женщина. Мужчина отправляется в мир и ищет там

ответ на свой главный вопрос: «Чего мне не хватает?» Однажды, если повезет, он обретает ответ: женщины. Мужчина и женщина соединяются, они есть *одно* — давайте обратимся к такому выражению, — и из их единства, их союза, возникает ребенок. Ребенок растет, пока однажды этот вопрос не посещает и его: «Чего мне не хватает?» И круг возобновляется. Круг возобновляется, потому что ответ уже содержится в вопросе, как нерожденное дитя.

— Следовательно?

— Следовательно, если хочется сбежать из этого круга, нам, возможно, следует искать в мире не подлинный ответ, а подлинный вопрос. Возможно, этого нам и не хватает.

— И как это способствует, сеньор, моему пониманию танцев, которым вы учите моего сына, танцев и звезд, которые этими танцами якобы призывают с небес, и месту танца в его образовании?

— Да, звезды... Мы по-прежнему не понимаем звезд, даже такие старики, как мы с вами. «Кто они такие? Что они нам сообщают? Каковы законы, по которым они живут?» Ребенку все проще. Ребенку не надо думать, ребенок способен танцевать. Пока мы стоим остолбенелые и глазеем в щель, что зияет между нами и звездами — «Вот это пропасть! Как нам ее преодолеть?» — ребенок просто танцует через нее.

— Давид не таков. Щели его тревожат еще как. Иногда парализуют. Я сам видел. Это явление среди детей нередко. Это синдром.

Сеньор Арройо не обращает на его слова внимания.

— В танце не красота главное. Если б мне хотелось творить красивые движения, я бы применял марионеток, а не детей. Марионетки способны парить и скользить так, как люди не в силах. Они могут рисовать в воздухе сложнейшие последовательности. Но танцевать не умеют. В них нет души. Именно душа привносит в танец благодать, душа, что следует ритму, каждый шаг инстинктивно содержит следующий и тот, что далее.

А звезды... У звезд свой танец, но их логика превосходит нашу, равно как и их ритмы. В этом наша трагедия. А есть еще блуждающие звезды, которые не участвуют в танце — как дети, которые не знают арифметики. *Las estrellas errantes, niños que ignoran la aritmética*, как писал поэт¹. Звездам даны мысли о немислимом, мысли, что превыше нас с вами: мысли *до вечности* и *после вечности*, мысли *от ничто до единицы* и *от единицы до ничто* и так далее. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу о загадочных иксах и о том, будут ли ученики Академии когда-нибудь знать ответ на «икс», ответ мой таков: как ни прискорбно, я не знаю.

Он ждет продолжения, но его нет. Сеньор Арройо сказал все, что хотел. Теперь его очередь. Но он, Симон, растерян. Ему нечего добавить.

¹ Строка из стихотворения «Школьные ангелы» (*Los ángeles colegiales*) из сборника «Об ангелах» (*Sobre los ángeles*, 1929) испанского поэта и драматурга Рафаэля Альберти (1902–1999).

— Утешьтесь, — говорит сеньор Арройо. — Вы прибыли не выяснить про икс, а потому что вы тревожитесь о благополучии своего ребенка. Будьте покойны. С ним все хорошо. Как и всем прочим детям, Давиду нет дела до икса. Ему хочется быть в мире, ощущать это бытие живым, такое новое и будоражащее. А теперь мне пора помочь жене. До свиданья, сеньор Симон.

Он добирается до машины. Инес там нет. Он поспешно одевается, свистит Боливару.

— Инес! — говорит он собаке. — Где Инес? Ищи Инес!

Собака ведет его к Инес, та сидит невдалеке, под деревом, на небольшом холмике с видом на озеро.

— Где Давид? — спрашивает она. — Я думала, он поедет с нами домой.

— Давиду хорошо, он хочет быть с друзьями.

— И когда же мы его теперь увидим?

— Зависит от погоды. Если и дальше будет погоже, они останутся тут на все выходные. Не тревожься, Инес. Он в хороших руках. Он счастлив. Разве этого недостаточно?

— То есть мы возвращаемся в Эстреллу? — Инес встает, отряхивает платье. — Я тебе поражаюсь. Разве тебя все это не огорчает? Сначала он желает уйти из дома, а теперь не хочет побыть с нами даже на выходных.

— Рано или поздно так бы и случилось все равно. У него независимая натура.

— Ты называешь это независимостью, а на мой взгляд, его подмяли под себя Арройо. Я видела, как ты болтал с сеньором. О чем?

— Он объяснял мне свою философию. Философию Академии. Числа и звезды. Призыв звезд и тому подобное.

— Ты это так называешь? Философией?

— Нет, я не называю это философией. Про себя я именую это шарлатанством. Про себя я именую это мистической чепухой.

— Тогда почему бы нам не взять себя в руки и не забрать Давида из Академии?

— Забрать и куда отправить? В Академию Пения, где какая-нибудь своя бессмысленная философия? «Вдыхаем. Опорожняем ум. Соединяемся с космосом». В городскую школу? «Сидите смиренно. Повторяйте за мной: один и один будет два, два и один будет три». Арройо, может, и городят сплошную ерунду, но это, по крайней мере, ерунда безобидная. И Давид здесь счастлив. Ему Арройо нравятся. Ему нравится Ана Магдалена.

— Да, Ана Магдалена... Ты, похоже, в нее влюбился. Можешь признаться. Смеяться я не буду.

— Влюбился? Нет, ничего подобного.

— Но ты считаешь ее привлекательной.

— Я считаю ее красивой — какими бывают богини, — но привлекательной я ее не нахожу. Влечение к ней было бы — как сказать-то? — непочтительным. Возможно, даже опасным. Она человека может сразить наповал.

— Сразить наповал! Тогда прими меры предосторожности. Носи доспехи. Таскай щит. Ты мне сказал, что тот человек из музея, Дмитрий, от нее без ума. Ты его не предупредил, что она и его может сразить наповал?

— Нет, не предупреждал. Мы с Дмитрием не друзья. Доверительно не болтаем.

— А тот молодой человек — он кто?

— Молодой человек, который прибыл с детьми на лодке? Это Алеша, их воспитатель, который следит за пансионерами. Вроде милый.

— Тебе, судя по всему, быть без одежды перед чужими людьми легко и просто.

— Поразительно легко и просто, Инес. Поразительно. Соскальзываешь в животное состояние. Животные — они не голые, они просто такие, как есть.

— Я заметила, как вы с твоей опасной богиней были вместе такие, как есть. Будоражит наверняка.

— Не насмехайся.

— Я не насмехаюсь. Но чего ты не откровенен со мной? Все же видят, что она тебе нравится, как и Дмитрию. Почему не признать это, зачем ходить кругами?

— Потому что это неправда. Мы с Дмитрием разные люди.

— Вы с Дмитрием оба мужчины. Мне этого достаточно.

Глава 10

Поездка на озеро отмечает дальнейшее охлаждение между ним и Инес. Вскоре она объявляет ему, что на неделю уедет в Новиллу, к братьям. Она по ним скучает и подумывает позвать их в Эстреллу.

— Я с твоими братьями никогда не ладил, — говорит он. — В особенности с Диего. Если они останутся у нас, я лучше съеду.

Инес не возражает.

— Дай мне время найти себе жилье, — говорит он. — Я бы предпочел не сообщать пока Давиду. Согласна?

— Пары разводятся ежедневно, и дети это как-то переживают, — говорит Инес. — У Давида буду я, у него будешь ты, мы просто не будем жить вместе.

Он уже знает северо-восток города как свои пять пальцев. Он без труда находит себе комнату у пожилой пары. Удобства скудные, электричество непредсказуемо отключается, но комната дешева, и у нее есть отдельный вход, жилье рядом с центром города. Пока Инес на работе, он забирает свои пожитки из квартиры и обустраивается на новом месте.

Хотя они с Инес изображают супружескую теплоту перед мальчиком, его не проведешь ни на миг.

— Где твои вещи, Симон? — спрашивает он; Симон вынужден признаться, что он на время переехал, чтобы освободить место для Диего и, возможно, для Стефано.

— Диего будет мне дядей или отцом? — спрашивает мальчик.

— Он будет тебе дядей, как и всегда.

— А ты?

— И я буду тем, кем всегда был. Я не меняюсь. Вокруг меня что-то меняется, но не я сам. Вот увидишь.

Если мальчика и огорчает разрыв между Инес и им, Симоном, он этого не показывает. Напротив: он возбужден и полон историй о своей жизни в Академии. У Аны Магдалены есть вафельная машинка, и она каждое утро делает для всех пансионеров вафли. «Тебе надо купить эту машинку, Инес, она замечательная». Алеша взялся читать им на ночь, и сейчас они слушают историю про трех братьев и их походе за мечом Мадрагилом, и это тоже замечательно. За музеем у Аны Магдалены есть садик с загоном, где она держит кроликов, кур и ягненка. Один кролик безобразник и все время норовит сделать подкоп и удрать. Однажды они нашли его в подвале музея. Его любимец среди животных — ягненок, его зовут Херемиа. У Херемии нет матери, и ему приходится пить коровье молоко из бутылочки с резиновой соской. Дмитрий дает Давиду подержать для Херемии бутылочку.

— Дмитрий?

Дмитрий, как выясняется, следит за зверинцем Академии, он же отвечает за дрова, чтобы топить большую печь в погребке, и моет ванную, после того как дети примут душ.

— Я думал, Дмитрий работает в музее. Люди в музее знают, что Дмитрий нанят еще и в Академии?

— Дмитрию не нужны деньги. Он это делает для Аны Магдалены. Он для нее что угодно сделает, потому что он ее любит и перед ней преклоняется.

— Любит и преклоняется: это он сам так говорит?

— Да.

— Это мило. Восхитительно. Меня волнует, что Дмитрий, вероятно, предоставляет все эти услуги любви и преклонения в то время, за которое ему платит музей, чтобы он стерег в нем картины. Но довольно о Дмитрии. Что еще ты нам можешь рассказать? Тебе нравится жить пансионером? Мы все правильно решили?

— Да. Когда мне снятся плохие сны, я бужу Алешу, и он позволяет мне спать в его постели.

— Ты один в Алешиной постели спишь? — спрашивает Инес.

— Нет, все, кому снятся плохие сны, могут спать у Алеши. Он так говорит.

— А Алеша? На чьей кровати спит Алеша, когда у него самого плохие сны?

Мальчика это не развлекает.

— А что танцы? — спрашивает он, Симон. — Как дела с танцами?

— Ана Магдалена говорит, что я лучший танцор из всех.

— Как славно. Когда же я уговорю тебя станцевать для меня?

— Никогда, потому что ты в это не веришь.

«Ты в это не веришь». Во что ему предстоит поверить, чтобы мальчик для него станцевал? В тарабарщину про звезды?

Они едят вместе — Инес приготовила ужин, — а затем ему пора уходить.

— Спокойной ночи, мой мальчик. Я завтра утром загляну. Можем погулять с Боливаром. Вероятно, в парке будет футбол.

— Ана Магдалена говорит, если ты танцор, играть в футбол нельзя. Она говорит, что можно потянуть мышцы.

— Ана Магдалена знает много разного, но про футбол она не знает. Ты сильный мальчик. Не будет тебе от футбола хуже.

— Ана Магдалена говорит, что нельзя.

— Ну что ж, насильно я тебя играть в футбол заставлять не буду. Но, пожалуйста, объясни мне вот что. Ты никогда меня не слушаешься, ты едва ли слушаешься Инес, однако всегда делаешь то, что говорит тебе Ана Магдалена. Почему?

Нет ответа.

— Хорошо. Спокойной ночи. Увидимся утром.

Он бредет к своему жилищу в скверном настроении. Было время, когда мальчик отдавался Инес душою и сердцем — или, по крайней мере, тому, что Инес видела в нем маленького принца в изгнании, но те дни, похоже, минули. То, что ее вы-

теснила сеньора Арройо, должно быть, действует на Инес угнетающе. А ему? Какое место осталось в жизни мальчика для него? Возможно, ему нужно последовать примеру Боливара. Боливар почти полностью перешел в сумеречную пору собачьей жизни. Он отрастил брюхо, иногда, укладываясь спать, испускает печальный тихий вздох. И все же, заведи Инес бездумно щенка — щенка, которого взяли бы на вырост, чтобы со временем заменил имеющегося стража, — Боливар сомкнул бы на шее у младшего соперника челюсти и тряс бы, куда не сломал ее. Возможно, именно таким отцом ему надлежало бы стать: вальяжным, эгоистичным и опасным. Возможно, мальчик бы его тогда зауважал.

Инес отправляется в обещанную поездку в Новиллу; за мальчика временно опять отвечает он. В пятницу вечером он ждет у Академии. Звонит колокольчик, ученики выбегают вон, однако Давида среди них нет.

Он поднимается по лестнице. Студия пуста. За ней располагается неосвещенный коридор, ведущий к анфиладе комнат, отделанных темным деревом, без мебели. Он проходит сумрачное пространство — возможно, обеденную залу, с длинными выдавшими виды столами и сервантом, набитым столовой утварью, и оказывается у подножья еще одного лестничного пролета. Сверху долетает приглушенный мужской голос. Он, Симон, поднимается и стучит в запертую дверь. Голос стихает. И затем:

— Войдите.

Он — в просторной комнате, освещенной потолочными окнами, очевидно, это школьное общежитие. Бок о бок на одной из кроватей сидят Ана Магдалена и Алеша. Десяток детей толпится вокруг них. Он узнает двух мальчиков Арройо, танцевавших на концерте, но Давида нет и здесь.

— Простите за вторжение, — говорит он. — Я ищу своего сына.

— Давид на занятии музыкой, — говорит Ана Магдалена. — Он освободится в четыре часа. Алеша, дети, это сеньор Симон, отец Давида.

— Я не мешаю? — спрашивает он.

— Нет, не мешаете, — говорит Ана Магдалена. — Присаживайтесь. Хоакин, расскажи сеньору Симону, что успело произойти.

«Нет, не мешаете. Присаживайтесь». В голосе Аны Магдалены, во всем ее виде — нежданное дружелюбие. Не из-за того ли эта перемена, что они побыли рядом голыми? Только это и было надо?

Хоакин, старший из сыновей Арройо, рассказывает:

— Жил-был рыбак, бедный рыбак, и однажды он ловит рыбу, потрошит ее и находит у нее в животе золотое кольцо. Он его трет и...

— Чтобы блестело, — перебивает его младший брат. — Он трет кольцо, чтобы оно блестело.

— Он трет кольцо, чтобы оно блестело, и появляется джинн, и джинн говорит: «Всякий раз, когда ты трешь это волшебное кольцо, я буду по-

являться и даровать тебе желание, у тебя их всего три, какое твое первое желание?» Вот.

— Всемогущий, — говорит Ана Магдалена. — Помните, что джинн — всемогущий и может даровать любое желание. Алеша, читай дальше.

В прошлый раз он не успел Алешу рассмотреть. У молодого человека густые, довольно красивые черные волосы, которые он зачесывает от висков назад, черты изящные, как у девочки. Никаких следов бритья. Он опускает взгляд темных глаз с длинными ресницами и читает — удивительно звучным голосом.

— Не поверив словам джинна, рыбак решил его испытать. «Желаю сотню рыб — отвезти на базар и продать», — говорит он. И тут же великая волна ударила в берег и оставила на нем сотню рыб, и все они бились у его ног, задыхаясь. «Какое твое второе желание?» — спросил джинн. Рыбак, осмелев, ответил: «Желаю, чтоб у меня в женах была красивая девушка». Тут же перед рыбаком, стоя на коленях, появилась девушка до того красивая, что у него перехватило дыхание. «Я ваша, господин мой», — сказала девушка. «И какое твое третье желание?» — спросил джинн. «Желаю быть царем всего мира», — ответил рыбак. Тут же рыбак облекся в платье из золотой парчи, на голове — золотая корона. Появился слон, поднял его хоботом на трон у себя на спине. «Ты загадал свое последнее желание. Ты теперь царь всего мира, — сказал джинн, — прощай». И с этими словами исчез в клубах дыма.

Время позднее, на берегу никого не было, не считая рыбака, его красавицы невесты и слона —

и сотни умирающих рыб. «Проществуем ко мне в деревню», — сказал рыбак царственным голосом. «Шествуй!» Но слон не шевельнулся. «Шествуй!» — вскричал рыбак еще громче, но слон его по-прежнему не слушался. «Эй! Девчонка! — вскричал царь. — Возьми палку и бей слона, чтоб шествовал!» Девушка послушно принесла палку и била слона, пока тот наконец не пошел.

Когда они прибыли в деревню рыбака, солнце уже почти село. Собрались соседи — подивиться и на слона, и на красавицу, и на самого рыбака в короне, сидевшего на троне. «Смотрите! Я царь всего мира, а это моя царица! — сказал рыбак. — Чтобы показать вам мое богатство, завтра будет пир из сотни рыб». Селяне возрадовались и помогли царю спуститься со слона; он отправился в свое скромное обиталище, где провел ночь в объятиях красавицы невесты.

Когда рассвело, селяне отправились на берег собрать сотню рыб. Но когда прибыли туда, обнаружили лишь рыбы скелеты — ночью к морю пришли волки и медведи и все сожрали. Селяне вернулись и сказали: «О царь, волки и медведи пожрали рыбу, налови нам еще, мы голодны». Из складок платья достал рыбак золотое кольцо. Тер-тер, но джинн не появился. И тогда селяне рассердились и сказали: «Что ты за царь такой, если не можешь нас накормить?» — «Я царь мира, — ответил рыбак-царь. — Если вы отказываетесь меня признавать, я сам уйду». Он повернулся к своей невесте, с которой провел ночь. «Приведи слона, — велел он. — Мы уезжаем из этой неблагодарной деревни».

Однако слон ночью убрел вместе с тронном, и никто не знал, где его искать. «Идем, — сказал рыбак своей невесте. — Пойдем пешком». Но невеста отказалась. «Царицы не ходят пешком, — обиделась она. — Я хочу ехать, как царица, на *un palarfén blanco*, со свитой служанок впереди, чтоб били в бубны».

Дверь открывается, в комнату на цыпочках входит Дмитрий, за ним — Давид. Алеша прерывает чтение.

— Заходи, Давид, — говорит Ана Магдалена. — Алеша читает нам историю рыбака, который мог бы стать царем.

Пока Давид садится рядом с ней, Дмитрий сидит на корточках в дверях, фуражка в руке. Ана Магдалена хмурится и резко машет ему рукой, чтоб вышел, но он не обращает внимания.

— Продолжай, Алеша, — говорит Ана Магдалена, — и слушайте внимательно, дети, потому что когда Алеша дочитает, я вас спрошу, что вы поняли из истории рыбака.

— Я знаю ответ, — говорит Давид. — Я уже сам эту историю прочел.

— Ты, может, ее и прочел, Давид, а мы все — нет, — говорит Ана Магдалена. — Алеша, продолжай.

— «Ты моя невеста, ты должна мне покоряться», — сказал рыбак. Девушка высокомерно потрянула головой. «Я — царица, я не хожу пешком, я езжу на *un palafrén*», — повторила она.

— Что такое *palafrén*, Алеша? — спрашивает кто-то из детей.

— *Palafren* — это конь, — говорит Давид. — Правда, Алеша?

Алеша кивает.

— «Я езжу на *un palafren*». Царь молча отвернулся от невесты и удалился. Много миль шел он, пока не пришел в другую деревню. Селяне собрались вокруг него, дивясь его короне и парчовому платью. «Смотрите, я — царь мира, — сказал рыбак. — Несите мне еду, ибо я голоден». — «Мы принесем тебе еду, — ответили селяне, — но если ты царь, как сам говоришь, где твоя свита слуг?» — «Мне, чтобы быть царем, свита слуг не нужна, — сказал рыбак. — Вы что, не видите у меня на голове корону? Делайте, как я велел. Несите мне угощение».

Селяне над ним посмеялись. Не угощение они ему принесли — они сбили корону у него с головы, содрали с него парчовое платье, и предстал он пред ними в скромном наряде рыбака. «Да ты самозванец! — вскричали селяне. — Ты просто рыбак! Не лучше нас! Иди откуда пришел!» И били его посохами, пока он не удрал. Вот так заканчивается история о рыбаке, который мог бы стать царем.

— Вот так заканчивается история, — эхом повторяет Ана Магдалена. — Интересная, дети, правда? Чему, по-вашему, из нее можно научиться?

— Я знаю, — говорит Давид и улыбается ему, Симону, уголком рта, словно говоря: «Видишь, какой я тут, в Академии, умный?»

— Ты, может, и знаешь, Давид, но это потому, что ты эту историю читал раньше, — говорит Ана

Магдалена. — Давай дадим другим детям попробовать.

— Что случилось со слоном? — Говорящий — младший Арройо.

— Алеша, что случилось со слоном? — говорит Ана Магдалена.

— Слона унесло в небо громадным вихрем и вернуло в его лесной дом, где он потом жил долго и счастливо, — невозмутимо говорит Алеша.

Они обмениваются взглядами. Впервые ему кажется, что между ними — между директорской алебастрово-чистой женой и красавцем воспитателем — что-то происходит.

— Что мы поняли из истории про рыбака? — повторяет Ана Магдалена. — Хороший человек был рыбак или плохой?

— Он был плохой человек, — говорит младший Арройо. — Он бил слона.

— Это не он бил слона, а его невеста, — говорит старший Арройо, Хоакин.

— Но он ее заставил.

— Рыбак — плохой, потому что он был себялюбивый, — говорит Хоакин. — Он думал только о себе, когда три желания загадывал. Должен был думать о других людях.

— Значит, что мы поняли из истории про рыбака? — спрашивает Ана Магдалена.

— Что мы не должны быть себялюбивыми.

— Согласны, дети? — говорит Ана Магдалена. — Мы согласны с Хоакином, что эта история предупреждает нас не быть себялюбивыми, что,

если будем себялюбивыми, наши соседи выгонят нас в пустыню? Давид, ты что-то хотел сказать.

— Селяне были неправы, — говорит Давид. Он поглядывает по сторонам и вызывающе вздергивает подбородок.

— Объяснись, — говорит Ана Магдалена. — Приведи доводы. Почему селяне неправы?

— Он царь. Они должны были перед ним склониться.

От Дмитрия, сидящего на корточках у двери, прилетают медленные хлопки аплодисментов.

— Bravo, Давид, — говорит Дмитрий. — Сказано мастером.

Ана Магдалена хмурится на Дмитрия.

— У вас разве нет обязанностей? — говорит она.

— Обязанностей перед статуями? Статуи мертвые, все до единой, они сами за собой приглядят.

— Он был ненастоящий царь, — говорит Хоакин, который, похоже, набрался уверенности. — Он был рыбаком, который прикинулся царем. Так сказано в истории.

— Он был царем, — говорит Давид. — Джинн сделал его царем. Джинн был всемогущий.

Мальчики сердито вперяются друг в друга. Встревает Алеша.

— Как мы становимся царями? — спрашивает он. — Это же честный вопрос, правда? Как кто-то из нас делается царем? Нужно ли нам для этого встретить джинна? Нужно ли вскрыть рыбу и добыть волшебное кольцо?

— Сначала надо быть принцем, — говорит Хоакин. — Царем не станешь, если сначала не побыл принцем.

— Станешь, — говорит Давид. — У него было три желанья, и третье было такое. Джинн сделал его царем всего мира.

И вновь Дмитрий медленно, громко аплодирует. Ана Магдалена не обращает на него внимания.

— Так что же, *по-твоему*, мы узнали из этой истории, Давид? — спрашивает она.

Мальчик глубоко вдыхает, словно собираясь ответить, но затем резко трясет головой.

— Что? — повторяет Ана Магдалена.

— Не знаю. Мне не видно.

— Нам пора идти, Давид, — говорит он, Симон, и встает. — Спасибо, Алеша, за чтение. Спасибо, сеньора.

Мальчик впервые навещает тесную комнатушку, где он, Симон, живет. Мальчик ее с ним никак не обсуждает, но апельсиновый сок пьет, ест печенье. Потом, вместе с Боливаром, что тенью следует за ними, идут гулять, исследовать округу. В округе неинтересно, просто улицы, одна за другой, с рядами узких фасадов. Вечер пятницы, люди возвращаются после дневных трудов и с любопытством поглядывают на мальчика и большого пса с холодными желтыми глазами.

— Это моя территория, — говорит он, Симон. — Здесь я езжу по делам, по всем местным улицам. Невелика работа, но и грузчиком

в порту работать — тоже дело невеликое. Каждый ищет себе самое подходящее место, у меня оно — такое.

Они останавливаются на перекрестке. Боливар убредает вперед, на проезжую часть. Грузный мужчина на велосипеде виляет, чтобы не наехать на пса, оглядывается сердито.

— Боливар! — вскрикивает мальчик. Боливар лениво возвращается к его ногам.

— Боливар ведет себя так, будто он царь, — говорит он, Симон. — Будто встретил джинна. Думает, что все вокруг должны ему уступать. Пусть-ка передумает. Может, желания его исчерпаны. Или джинн состоял из одного дыма.

— Боливар — царь всех собак, — говорит мальчик.

— Если даже он царь собак, от автомобиля его это не спасет. Царь всех собак, в конце концов, — просто собака.

По невесть какой причине мальчик сегодня не оживлен, как обычно. За ужином — картофельное пюре, подлива, горошек — веки у него тяжелеют. Он безропотно укладывается спать на диван.

— Спи крепко, — шепчет он, Симон, целуя его в лоб.

— Я делаюсь малюсенький-премалюсенький, — говорит мальчик хриплым полусонным голосом. — Я делаюсь малюсенький-премалюсенький — и падаю.

— Падай, — шепчет он. — Я за тобой тут присмотрю.

— Я призрак, Симон?

— Нет, ты не призрак, ты настоящий. И ты настоящий, и я. Спи.

Утром он пободрее.

— Что будем сегодня делать? — спрашивает он. — Можно нам на озеро? Я хочу еще на лодке покататься.

— Не сегодня. На озеро сможем съездить, когда Диего и Стефано будут здесь, мы им покажем окрестности. Давай лучше на футбол? Я куплю газету и посмотрю, кто играет.

— Я не хочу смотреть футбол. Это скучно. Давай пойдем в музей?

— Хорошо. Но ты музей на самом деле хочешь навестить или Дмитрия? Чем он тебе так нравится? Тем, что конфеты дает?

— Он со мной разговаривает. Рассказывает мне разное.

— Истории?

— Да.

— Дмитрий — человек одинокий. Он вечно ищет, кому бы рассказать историю. Его чуточку жалко. Ему бы подругу.

— Он влюблен в Ану Магдалену.

— Да, он мне говорил — и всем, кто согласится слушать. Ане Магдалене от этого наверняка неловко.

— У него есть картинки с женщинами без одежды.

— Ну, меня это не удивляет. Такие есть у мужчин, которым одиноко, — у некоторых мужчин. Они собирают картинки с красивыми женщинами и грезят, как бы им было с ними рядом. Дмитрию одиноко, и он не знает, что со

своим одиночеством делать, и потому, когда не ходит, как собака, по пятам за сеньорой Арройо, он рассматривает картинки. Мы его не виним, но ему не следовало бы показывать их тебе. Это нехорошо — и Инес рассердится, если узнает. Я с ним поговорю. Он и другим детям их показывает?

Мальчик кивает.

— Что еще ты мне можешь рассказать? О чем вы с ним разговариваете?

— О другой жизни. Он говорит, что будет с Аной Магдаленой в другой жизни.

— И все?

— Он говорит, что и я могу с ними быть в другой жизни.

— Ты и еще кто?

— Я один.

— Я с ним точно поговорю. Поговорю и с Аной Магдаленой. Недоволен я Дмитрием. Не думаю, что тебе стоит с ним общаться. Давай, доeday завтрак.

— Дмитрий говорит, что у него похоть. Что такое похоть?

— Похоть — болезнь, которой страдают взрослые, мой мальчик, обычно взрослые мужчины вроде Дмитрия, которые слишком много времени проводят в одиночестве, без жены или подруги. Что-то наподобие боли, как голова болит или живот. От нее возникают фантазии. От нее они воображают себе всякое, чего нет на самом деле.

— Дмитрий страдает похотью из-за Аны Магдалены?

— Давид, Ана Магдалена — замужняя женщина. Ей есть кого любить — своего мужа. Она может с Дмитрием дружить, но не может его любить. Дмитрию нужна своя женщина, которая будет его любить. Как только он найдет себе женщину, которая его полюбит, он выльчится от всех напастей. Ему больше не нужно будет смотреть на картинки — и рассказывать каждому встречному, как сильно он преклоняется перед дамой с верхних этажей. Но я уверен, что он тебе признателен, раз ты его слушаешь и хороший друг ему. Уверен, ему это помогает.

— Он сказал одному мальчику, что собирается себя убить. Собирается пустить пулю себе в голову.

— Какому мальчику?

— Другому.

— Невероятно. Мальчик наверняка не понял. Дмитрий не собирается себя убивать. Более того, у него нет пистолета. В понедельник утром, когда поведу тебя в школу, потолкую с Дмитрием и спрошу, что с ним и как ему помочь. Может, когда мы все поедem на озеро, позовем с собой Дмитрия. Как думаешь?

— Да.

— А пока я не желаю, чтобы вы с Дмитрием оставались один на один. Понял? Ты понял, что я сказал?

Мальчик молчит, отводит взгляд.

— Давид, ты понимаешь, что я говорю? Это серьезное дело. Ты не знаешь Дмитрия. Ты не знаешь, почему он тебе доверяется. Ты не знаешь, что у него на душе.

— Он плакал. Я видел. Он прятался в чулане и плакал.

— В каком чулане?

— В чулане, где метлы и все такое.

— Он рассказал тебе, почему плакал?

— Нет.

— Ну, когда у нас тяжело на сердце, часто полезно поплакать. Видимо, что-то тяготит Дмитрию сердце, и, раз он поплакал, сердце у него теперь не такое тяжелое. Я с ним поговорю. Выясню, что случилось. Разберусь как следует.

Глава 11

Сказано — сделано. В понедельник утром, доставив Давида на занятия, он отыскивает Дмитрия. Обнаруживает его в одном из выставочных залов: стоя на стуле, при помощи перьевой метелки на длинной ручке Дмитрий смахивает пыль с картины в раме, высоко на стене. На картине — мужчина и женщина, довольно формально облаченные в черное, на лужайке среди леса, перед ними расстелена скатерть для пикника; на заднем плане мирно пасется стадо.

— Найдется минутка, Дмитрий? — говорит он. Дмитрий спускается, встает перед ним.

— Давид сказал, что вы приглашаете детей из Академии к себе в комнату. А еще он мне сказал, что вы им показываете фотокарточки с голыми женщинами. Если это правда, я требую немедленно это прекратить. Иначе для вас будут серьезные последствия, о которых нет нужды говорить вслух. Вы меня поняли?

Дмитрий сдвигает фуражку на затылок.

— Вы думаете, я растлеваю хорошенькие юные тела этих детей? Вы меня в этом обвиняете?

— Ни в чем я вас не обвиняю. Уверен, ваши отношения с детьми совершенно невинны. Но дети

воображают себе всякое, преувеличивают, болтают друг с дружкой, с родителями. Вся эта история может выйти боком. Вы не можете этого не понимать.

В зал забредает молодая пара — первые сегодняшние посетители. Дмитрий возвращает стул на место в углу, усаживается на него, держа метелку торчком, как копьё.

— Совершенно невинны, — говорит он вполголоса. — Вы говорите мне в глаза: *совершенно невинны?* Да вы шутите, Симон. Вас же так зовут — Симон?

Юная пара косится на них, перешептывается, уходит из зала.

— На следующий год, Симон, я отпраздную сорокапятилетие этой жизни. Еще вчера я был юнец, а нынче, не успел глазом моргнуть, — мне уже сорок пять, усы, пузо, больное колено и все прочее, что прилагается к сорокапятилетию. Вы вправду верите, что кто-то может дожить до столь преклонных лет и остаться *совершенно невинным?* Вы о себе так способны сказать? Вы сами совершенно невинны?

— Прошу вас, Дмитрий, не надо речей. Я пришел с просьбой — с вежливой просьбой. Прекратите водить детей из Академии к себе в комнату. Прекратите показывать им сальные снимки. А также прекратите разговаривать с ними об их учительнице, сеньоре Арройо, и о ваших к ней чувствах. Они не понимают.

— А если не прекращу?

— Если не прекратите, я донесу до музейного начальства, и вы потеряете работу. Проще простого.

— Проще простого... Ничто в жизни не просто, Симон, вам ли не знать. Дайте-ка я расскажу вам об этой моей работе. Прежде чем прийти в музей, я работал в больнице. Не врачом, спешу заметить, — я всегда был бестолковым, экзамены заваливал, в книжном знании слаб. Дмитрий — тупой вол. Нет, врачом я не был, а был санитаром, выполнял работу, за которую никто другой не хотел браться. Семь лет, или около того, служил я санитаром. Я вам про это уже рассказывал, если помните. О тех годах я не жалею. Жизнь повидал — повидал много жизни и много смерти. Столько смерти, что в конце концов пришлось мне уйти, больше не мог на это смотреть. Взаялся за эту работу, где делать нечего — сиди себе весь день, зевай, жди, когда прозвонят к закрытию. Если б не Академия наверху, если б не Ана Магдалена, я бы давно сгинул тут от скуки.

Почему, как вы думаете, я болтаю с вашим мальчишкой, Симон, и с другими малышами? Почему, как считаете, играю с ними и покупаю им сладости? Потому что хочу их растлить? Потому что желаю над ними надругаться? Нет. Хотите верьте, хотите нет, я играю с ними в надежде, что хоть часть их аромата и невинности вотрется и в меня и я не превращусь в угрюмого одинокого старика, что сидит в углу, как паук, ни к кому не добрый, никому не нужный, не желанный. Ибо какой с меня прок с самого по себе и какой прок с вас — да, с вас, Симон! — какой прок с нас, уставших, потасканных стариков? Да мы могли б

запереться в нужнике и пулю себе в лоб пустить. Не согласны?

— Сорок четыре — это не старость, Дмитрий. Вы в расцвете сил. Вам не нужно слоняться по коридорам Академии Арройо. Вы могли бы жениться, своих детей завести.

— Мог бы. Конечно, мог бы. Думаете, я не хочу? Но есть загвоздка, Симон, загвоздка есть. И загвоздка эта — сеньора Арройо. Я *encaprichado* ею. Знаете такое слово? Нет? В книжках посмотрите. Пленен. Вы это знаете, знает и она, и все вокруг, это не тайна. Даже сеньор Арройо знает, чья голова в облаках почти все время. Я пленен сеньорой Арройо, с ума по ней схожу, *loco*, вот и весь сказ. Вы говорите: «Брось, оглядись по сторонам». Но нет. Я слишком бестолков для этого — слишком бестолков, слишком простак, слишком старомоден, слишком привержен. Как пес. И не стыжусь так говорить. Я — пес Аны Магдалены. Я лижу землю, на которую ступала ее нога. На коленях. А вы хотите, чтоб я ее бросил, взял и бросил — и нашел ей замену. «Господин, ответственный, с постоянной занятостью, зрелых лет, ищет добропорядочную вдову с видами на женитьбу. Пишите на абонентский ящик 123, приложите фотокарточку».

Не выйдет, Симон. Не женщину в абонентском ящике 123 я люблю, а Ану Магдалену Арройо. Что за муж я буду для ящика 123, что за отец — куда ношу образ Аны Магдалены в своем сердце? А дети, каких вы мне желаете, собственные дети: вы думаете, они станут меня любить? Дети, зача-

тые из чресл безразличия? Разумеется, нет. Они будут ненавидеть и презирать меня, и только того я и заслуживаю. Кому нужен отец с отсутствующим сердцем?

Потому спасибо вам за взвешенный и участливый совет, но, к сожалению, я не могу им воспользоваться. Когда речь о великих жизненных выборах, я следую сердцу. Почему? Потому что сердце всегда право, а голова всегда заблуждается. Понимаете?

Он, Симон, начинает догадываться, почему этот человек зачаровывает Давида. Несомненно, есть в этом нечто позерское — в разговорах о великой неразделенной любви, в этом извращенном бахвальстве. Есть и насмешка: он с самого начала думал, что Дмитрий выбрал его для своих откровений исключительно потому, что считает его евнухом или чудаком, чуждым земным страстям. Но до чего мощный спектакль, тем не менее. До чего чистосердечным, величественным, *правдивым* должен казаться Дмитрий мальчику Давидовых лет — по сравнению со старой сухой корягой вроде него, Симона!

— Да, Дмитрий, я понимаю. Вы вполне ясно выразились, более чем. Позвольте и мне внести полную ясность. Ваши отношения с сеньорой Арройо — ваше дело, не мое. Сеньора Арройо — взрослая женщина, она сама о себе позаботится. Дети же — другое дело. Арройо содержат школу, а не сиротский приют. Вы не можете присваивать их учеников и из них составлять себе семью. *Они не ваши дети*, Дмитрий, в той же мере, что и

сеньора Арройо — не ваша жена. Я желаю, чтобы вы прекратили водить Давида, моего ребенка, ребенка, за чье благополучие я отвечаю, к себе в комнату и показывать ему сальные фотокарточки. Моего ребенка — и любого другого ребенка. Если не прекратите, я прослежу, чтобы вас уволили. Вот и все.

— Это угроза, Симон? Вы мне угрожаете? — Дмитрий подымается со стула, все еще с метелкой в руке. — Вы, чужак невесть откуда, угрожаете мне? Вы думаете, у меня тут нет власти? — Губы его разъезжаются в улыбке, обнажая желтые зубы. Он легонько трясет метелкой перед его, Симона, лицом. — Вы думаете, у меня нет влиятельных друзей?

Он, Симон, отступает.

— Что я думаю, не имеет для вас значения, — говорит он холодно. — Я сказал, что имел сказать. Всего хорошего.

В тот вечер заряжает дождь. Льет весь следующий день, без перерыва или даже намека на него. Курьеры-велосипедисты не могут заниматься своим делом. Он остается у себя в комнате, убивает время, слушая музыку по радио, подремывая, а из щели в потолке в ведро на полу капает вода.

На третий день дождя дверь в его комнату распахивается, и перед ним предстает Давид, мокрый насквозь, волосы прилипли к черепу.

— Я сбежал, — объявляет он. — Сбежал из Академии.

— Ты сбежал из Академии! Заходи, закрывай

дверь, снимай все мокрое, ты же, небось, промерз до костей. Я думал, тебе в Академии нравится. Что-то случилось? — Говоря все это, он хлопочет вокруг мальчика: раздевает его, оборачивает полотенцем.

— Аны Магдалены нет. И Дмитрия. Их обоих нет.

— Уверен, этому есть объяснение. Они знают, что ты здесь? Сеньор Арройо знает? А Алеша?

Мальчик качает головой.

— Они же волноваться будут. Давай я тебе что-нибудь дам попить, чтобы ты согрелся, а потом пойду позвоню им, скажу, что с тобой все в порядке.

Натянув свой желтый клеенчатый дождевик и моряцкую шляпу, он отправляется под ливень. Из телефонной будки на углу звонит в Академию. Никто не отвечает.

Он возвращается к себе.

— Никто не отвечает, — говорит он. — Придется туда съездить самому. Подожди меня здесь. Очень тебя прошу, пожалуйста, не убегай.

На сей раз он отправляется на велосипеде. Добирается за пятнадцать минут, под проливным дождем. Приезжает промокший до нитки. В студии пусто, но в просторной столовой он обнаруживает товарищей Давида — пансионеры сидят за одним из длинных столов, Алеша им читает. Алеша прерывается, смотрит на него вопросительно.

— Простите, что прерываю, — говорит он. — Я звонил, но мне не ответили. Приехал сказать, что с Давидом все в порядке. Он со мной, дома.

Алеша вспыхивает.

— Простите. Я пытался всех удержать вместе, но иногда я их упускаю. Думал, что Давид наверху.

— Нет, он со мной. Он сказал, что вроде бы Ана Магдалена исчезла.

— Да, Аны Магдалены сейчас нет. Занятия приостановлены, пока она не вернется.

— И когда это произойдет?

Алеша беспомощно пожимает плечами.

Он возвращается на велосипеде к дому.

— Алеша говорит, что занятия прерваны, — говорит он мальчику. — Говорит, что Ана Магдалена скоро вернется. Она никуда не сбежала. Это все чепуха.

— Не чепуха. Ана Магдалена сбежала с Дмитрием. Они будут цыгане.

— Кто тебе такое сказал?

— Дмитрий.

— Дмитрий — фантазер. Он всегда мечтал сбежать с Анной Магдаленой. Ане Магдалене он неинтересен.

— Ты меня никогда не слушаешь! Они сбежали. Они начнут новую жизнь. Я не хочу обратно в Академию. Я хочу с Анной Магдаленой и с Дмитрием.

— Ты хочешь бросить нас с Инес и быть с Анной Магдаленой?

— Ана Магдалена меня любит. И Дмитрий меня любит. Инес не любит меня.

— Инес, конечно же, тебя любит! Она ждет не дождется, когда вернется из Новиллы, чтобы снова быть с тобой. А Дмитрий — он никого не любит. Он не способен любить.

— Он любит Ану Магдалену.

— У него к Ане Магдалене страсть. Это другое дело. Страсть эгоистична. Любовь — нет. Инес любит тебя не эгоистично. Я тоже.

— С Инес скучно. С тобой скучно. Когда дождь перестанет? Ненавижу дождь.

— Печально слышать, что тебе так скучно. А дождь... Я, к сожалению, не император небесный и остановить его никак не могу.

В Эстрелле две радиостанции. Он переключается на вторую, и как раз в этот миг диктор сообщает о закрытии сельскохозяйственной ярмарки ввиду «неразумной» погоды. За новостями следует долгое перечисление автобусных маршрутов, на которых приостановлено движение, и школ, где временно прекращены занятия.

— «Две академии Эстреллы — Пения и Танца — тоже прекращают на время работу».

— Я тебе говорил, — повторяет мальчик. — Я никогда не вернусь в Академию. Ненавижу там все.

— Месяц назад ты ее обожал. А теперь ненавидишь. Может, Давид, на сей раз ты поймешь, что возможных чувств — не два, любовь и ненависть, а гораздо больше. Если решишь ненавидеть Академию и отвернуться от нее — скоро окажешься в какой-нибудь государственной школе, где учителя не будут читать тебе сказки про джиннов и слонов, а заставят тебя весь день складывать числа, шестьдесят три делить на девять, семьдесят два на шесть. Ты везучий мальчик, Давид, везучий и очень избалованный. Думаю, тебе пора открыть на это глаза.

Сказав свое слово, он отправляется под дождь и звонит в Академию. На сей раз Алеша снимает трубку.

— Алеша! Это опять Симон. Я услышал по радио, что Академия будет закрыта, пока дождь не прекратится. Почему вы мне этого не сказали? Соедините меня с сеньором Арройо.

Долгое молчание. А затем:

— Сеньор Арройо занят, он не может подойти к телефону.

— Сеньор Арройо, директор вашей Академии, слишком занят, чтобы поговорить с родителями. Сеньора Арройо бросила свои обязанности, и ее нигде нет. Что происходит?

Молчание. Молодая женщина снаружи будки бросает на него отчаянный взгляд, лепит губами слова, показывает на часы. Она под зонтиком, но тот — немощная преграда потокам дождя, что обрушиваются на нее.

— Алеша, послушайте. Мы едем к вам, мы с Давидом. Сейчас же. Не запирайте дверь. До свиданья.

Он уже не пытается не промокать. Они едут в Академию вместе, мальчик сидит на раме тяжелого старого велосипеда, выглядывая из-под желтого плаща, вопя от удовольствия и высоко задирая ноги, когда они перебираются через лужи. Светофоры не работают, улицы почти пусты. Киоскеры на городской площади давным-давно собрали пожитки и разошлись по домам.

У входа в Академию стоит машина. На заднем сиденье — мальчик, в котором он узнает одно-

классника Давида, лицо прижато к стеклу, а его мать меж тем пытается закинуть чемодан в багажник. Он предлагает помощь.

— Спасибо вам, — говорит она. — Вы — отец Давида, верно? Помню вас по концерту. Давайте уйдем от дождя?

Они прячутся в подъезде, Давид же забирается в машину к другу.

— Ужас, да? — говорит женщина, стряхивая воду с волос. Он узнает ее, вспоминает имя: Изабелла. В дождевике и на высоких каблуках она довольно элегантна, довольно привлекательна. Взгляд у нее беспокойный.

— Вы о погоде? Да, сроду такого дождя не видел. Будто конец света.

— Нет, я про сеньору Арройо. Для детей очень неприятно. Такая репутация была у Академии. А теперь вот ума не приложу. У вас на Давида какие планы? Оставьте здесь?

— Не знаю. Нужно обсудить с его матерью. А что именно вы имеете в виду — о сеньоре Арройо?

— А вы не слышали? Они расстались, Арройо, и она сбежала. Вероятно, это можно было предвидеть — молодая женщина, мужчина постарше. Но посреди учебного года, не предупредив родителей. Не понимаю, как Академия сможет дальше работать. Таково слабое место маленьких предприятий: они слишком зависят от отдельных людей. Ну, нам пора. Как же разлучать детей? Вы наверняка гордитесь Давидом. Такой умный мальчик, говорят.

Она поднимает воротник дождевика, смело шагает под дождь, стучит в окошко машины.

— Карлос! Карлито! Мы уезжаем. До свиданья, Давид. Может, как-нибудь заедешь к нам поиграть. Мы с твоими родителями созвонимся. — Махнув на прощанье рукой, она уезжает.

Двери в студию распахнуты. Они поднимаются по лестнице и слышат органную музыку, стремительный бравурный пассаж звучит вновь и вновь. Алеша ждет их, лицо напряженное.

— Там все еще дождь? — говорит он. — Иди сюда, Давид, обнимемся.

— Не грусти, Алеша, — говорит мальчик. — Они ушли к новой жизни.

Алеша бросает на него, Симона, растерянный взгляд.

— Дмитрий и Ана Магдалена, — терпеливо объясняет мальчик. — Они ушли в новую жизнь. Они будут цыгане.

— Я совершенно сбит с толку, Алеша, — говорит он, Симон. — Я выслушиваю разные истории и не понимаю, какой верить. Я требую разговора с сеньором Арройо. Где он?

— Сеньор Арройо играет, — говорит Алеша.

— Это я слышу. Тем не менее, могу я с ним поговорить?

Быстрый, блистательный пассаж, который он уже слышал, теперь переплетается с более тяжелым, басовым, он, кажется, как-то смутно связан с первым. В музыке нет грусти, нет задумчивости, ничего такого, что подсказывало бы, что музыканта бросила красивая молодая жена.

— Он за клавишами с шести утра, — говорит Алеша. — Вряд ли он хочет, чтобы его прерывали.

— Хорошо, время есть, я подожду. Вы не могли бы проследить, чтобы Давид переоделся в сухое? И можно мне позвонить?

Он звонит в «Модас Модернас».

— Это Симон, друг Инес. Передайте ей, пожалуйста, в Новиллу. Скажите, что в Академии неприятности и что ей нужно без промедления вернуться домой... Нет, у меня нет ее номера... Просто скажите «неприятности в Академии», она поймет.

Он усаживается ждать Арройо. Не будь он так раздражен, мог бы наслаждаться музыкой — как блестяще музыкант переплетает мотивы, какие дарит гармонические сюрпризы, какая у него логика решений. Настоящий музыкант, несомненно, — обреченный на роль школьного учителя. Неудивительно, что он не склонен общаться со взбешенными родителями.

Алеша возвращается с пластиковым пакетом, в нем — мокрые вещи мальчика.

— Давид пошел поздороваться со зверями, — докладывает он.

Мальчик врывается в студию бегом.

— Алеша! Симон! — кричит он. — Я знаю, где он! Я знаю, где Дмитрий! Пошли!

Они идут за мальчиком по боковой лестнице в обширный, плохо освещенный подвал музея, мимо строительных лесов, мимо полотен, приваленных как попало к стенам, мимо группки мраморных ню, перетянутых вместе веревками, пока

не оказываются в маленькой выгородке в углу, собранной из фанерных листов, сколоченных тляп, без потолка.

— Дмитрий! — кричит мальчик и колотит в дверь. — Тут Алеша! И Симон!

Нет ответа. Он, Симон, замечает, что дверь в выгородку заперта на замок.

— Там никого нет, — говорит он. — Тут заперто снаружи.

— Он там! — говорит мальчик. — Я его слышу! Дмитрий!

Алеша подтаскивает секцию лесов, прислоняет ее к стенке выгородки. Поднимается, заглядывает внутрь, поспешно спускается.

Не успевают они поймать его, Давид тоже взбирается по лесам. Видно, как на вершине он столбенеет. Алеша лезет за ним, снимает его.

— Что там? — спрашивает он, Симон.

— Ана Магдалена. Идите. Заберите Давида. Звоните в «скорую». Скажите, несчастный случай. Скажите, чтоб скорее приезжали. — Тут колени у него сдают, и он оседает на пол. Лицо бледное.

— Скорей, скорей, скорей! — говорит он.

Все дальнейшее происходит в спешке. Приезжает «скорая», за ней — полиция. Из музея выводят всех посетителей, у входа выставляют охрану, лестница в подвал перегорожена. С обоими мальчиками Арройо и оставшимися пансионерами Алеша уходит на верхний этаж здания. Сеньора Арройо не видно и не слышно — органнйй чердак пуст.

Он, Симон, обращается к одному из полицейских.

— Можно нам уйти? — спрашивает он.

— Вы кто?

— Мы — те, кто нашел... кто нашел тело. Мой сын Давид здесь учится. Он очень расстроен. Я бы хотел забрать его домой.

— Я не хочу домой, — объявляет мальчик. Вид у него решительный, упрямый; потрясение, от которого он поначалу притих, кажется, отпускает его. — Я хочу увидеть Ану Магдалену.

— Этому уж точно не бывать.

Звучит свисток. Без единого слова полицейский оставляет их. В тот же миг мальчик срывается бегом в студию, мчит вперед, пригнув голову, как маленький бык. Он, Симон, догоняет его лишь у подножья лестницы, где двое медиков с носилками, укрытыми белой простыней, пытаются протиснуться мимо столпившихся людей. Простыня за что-то цепляется, и на миг обнажается покойная сеньора Арройо — вплоть до оголенной груди. Левая сторона лица синяя, почти черная. Глаза широко раскрыты. Нижняя губа ощерена. Медики стремительно поправляют простыню.

Полицейский берет мальчика за руку.

— Отпусти меня! — орет тот, пытаясь вырваться. — Я хочу ее спасти!

Полицейский без усилий поднимает его и держит, брыкающегося, на весу. Он, Симон, не вмешивается — ждет, пока носилки не погрузят в машину «скорой помощи», а дверцы не закроются.

— Можете его отпустить, — говорит он полицейскому. — Дальше я сам. Это мой сын. Он расстроен. Она была его учительницей.

У него нет ни сил, ни настроения ехать на велосипеде. Они вместе с мальчиком бредут по однообразному дождю обратно домой.

— Я опять промок, — ноет мальчик. Он, Симон, обертывает его в дождевик.

В дверях их встречает Боливар — в своей обычной царственной манере.

— Посиди рядом с Боливаром, — велит он мальчику. — Пусть он тебя погрееет. Пусть даст тебе своего тепла.

— Что дальше будет с Аной Магдаленой?

— Сейчас ее уже привезли в больницу. Я об этом больше говорить не буду. На сегодня хватит.

— Дмитрий ее убил?

— Понятия не имею. Я не знаю, как она умерла. Но вот что хочу у тебя спросить. Та маленькая комнатка, где мы ее нашли, — это туда тебя Дмитрий водил смотреть на картинки с женщинами?

— Да.

Глава 12

Наутро небо после больших дождей впервые проясняется, и Дмитрий сдается сам. Он приходит в полицейский участок.

— Это я, — объявляет он молодой женщине за стойкой, та не понимает, о чем речь, и тогда он достает утреннюю газету и тычет пальцем в заголовок: «СМЕРТЬ БАЛЕРИНЫ», с фотографией Аны Магдалены, голова и плечи льдисто прекрасные. — Я ее убил, — говорит он. — Я виновный.

За следующие несколько часов он пишет для полиции исчерпывающий отчет о происшедшем: как под неким предлогом уговорил Ану Магдалену сопроводить его в подвал музея, как ее изнасиловал, а потом удушил, как запер тело в выгородке, как два дня и две ночи бродил по городу, безразличный к холоду и дождю, обезумевший, пишет он, хотя от чего обезумевший, не сообщает (от вины? от горя?), пока, наткнувшись на утреннюю газету в киоске, с фотографией, чей взгляд, по его выражению, пронзил его до глубины души, не пришел в себя и не сдался — «решив заплатить долг».

Все это звучит на первом слушании, которое происходит на фоне пылкого общественного ин-

тереса: ничего столь чрезвычайного в Эстрелле на памяти горожан не происходило. Сеньора Арройо на слушаниях нет: он заперся в Академии и ни с кем не желает говорить. Он, Симон, пытается пробиться на слушания, но толпа у крошечного зала суда такая плотная, что он бросает эту затею. По радио он узнает, что Дмитрий признал свою вину и отказался от адвоката, хотя судья объяснил ему, что сейчас не время и не место каяться. «Я совершил худшее преступление на свете: я убил того, кого люблю, — передают его слова. — Секите меня, повесьте меня, сокрушите мне кости». Из зала суда его отводят обратно в камеру, по пути он терпит град издевок и оскорблений от зевак.

Откликнувшись на его звонок, Инес возвращается из Новиллы — в сопровождении старшего брата, Диего. Давид возвращается к ним в квартиру. Поскольку занятий нет, он весь день играет с Диего в футбол. Диего, по его словам, «великолепно» играет.

Он, Симон, встречается с Инес за обедом. Они обсуждают, что делать с Давидом.

— Он вроде, как обычно, преодолел потрясение, — говорит он ей, — но я сомневаюсь. Ни для какого ребенка, увидевшего такое, не может не быть последствий.

— Не надо было ему вообще идти в эту Академию, — говорит Инес. — Надо было нанять учителя, как я и говорила. Не люди, а катастрофа какая-то эти Арройо!

Его передергивает.

— Вряд ли это вина сеньоры Арройо — или ее мужа, — что ее убили. С чудовищем вроде Дмитрия можно столкнуться где угодно. Хорошо, что Давид получил урок: вот такие у взрослых бывают страсти и вот куда они могут завести.

Инес фыркает.

— Страсти? Ты называешь изнасилование и убийство страстями?

— Нет, изнасилование и убийство — преступления, но ты же не будешь отрицать, что Дмитрия к ним привела страсть?

— Тем хуже для страсти, — говорит Инес. — Будь на белом свете поменьше страсти, тут было бы безопаснее.

Они сидят в кафе через дорогу от «Модас Модернас», столики стоят тесно. Их соседки, две хорошо одетые женщины, быть может — из клиенток Инес, умолкают и прислушиваются к тому, что уже начинает походить на ссору. Поэтому он воздерживается говорить то, что собрался («Страсть, — хотел сказать он, — что ты знаешь о страсти, Инес?»), а вместо этого говорит:

— Давай не будем уходить в дебри. Как Диего? Как ему нравится Эстрелла? Он надолго? А Стефано тоже приедет?

Нет, сообщают ему, Стефано в Эстреллу не поедет. Стефано полностью под каблуком своей подруги, которая не хочет, чтобы он уезжал. У Диего же об Эстрелле приятного впечатления не складывается. Он называет ее *atrasada*, отсталой, и не понимает, что Инес вообще тут делает, он хочет, чтобы она вернулась с ним в Новиллу.

— И ты поедешь? — спрашивает он. — Вернешься в Новиллу? Мне нужно понимать, поскольку где Давид — там и я.

Инес не отвечает, играет со своей чайной ложечкой.

— А магазин как же? — говорит он. — Каково будет Клаудии, если ты ее вдруг бросишь? — Он склоняется к ней. — Скажи мне честно, Инес, ты все так же предана Давиду, как и прежде?

— В каком смысле — «все так же ли я предана»?

— В смысле, ты все еще мальчику мать? Ты его по-прежнему любишь или ты от него отдаляешься? Потому что я должен тебя предупредить: я не могу быть ему и отцом, и матерью.

Инес встает.

— Мне пора в магазин, — говорит она.

Академия Пеня — совсем другое дело, нежели Академия Танца. Она расположена в изящном здании со стеклянным фасадом, на зеленой площади в самом дорогом районе города. Их с Давидом приглашают в кабинет сеньоры Монтотти, заместителя директора, которая встречает их прохладно. После закрытия Академии Танца, сообщает она, в Академии Пеня наплыв заявок от бывших учеников. Имя Давида можно внести в списки, но перспективы у него не лучшие: предпочтение отдается кандидатам с музыкальным образованием. Более того, ему, Симону, следует учесть, что стоимость обучения в Академии Пеня значительно выше, чем в Академии Танца.

— Давид занимался музыкой с самим сеньором Арройо, — говорит он. — У него хороший голос. Вы же дадите ему возможность показать себя? Он прекрасный танцор. Может стать прекрасным певцом.

— Он этого хочет в жизни — стать певцом?

— Давид, ты слышал вопрос сеньоры. Ты хочешь быть певцом?

Мальчик не отвечает, невозмутимо смотрит в окно.

— Что вы желаете делать в жизни, молодой человек? — спрашивает сеньора Монтойя.

— Не знаю, — говорит мальчик. — Как сложится.

— Давиду шесть лет, — говорит он, Симон. — Нельзя ожидать от шестилетки планов на жизнь.

— Сеньор Симон, у всех наших учеников есть одно общее, от младших до старших: страсть к музыке. У вас есть страсть к музыке, молодой человек?

— Нет. Страсти — это вредно.

— Что вы говорите! Кто вам такое сказал, что страсти — вредно?

— Инес.

— Кто такая Инес?

— Инес — его мать, — встречается он, Симон. — Думаю, ты неверно понял Инес, Давид. Она имела в виду физическую страсть. Страсть к пению — не физическая. Может, споешь синьоре Монтойе, чтобы она услышала, какой у тебя хороший голос? Спой ту английскую песенку, которую ты мне когда-то пел.

— Нет. Я не хочу петь. Ненавижу петь.

Он отвозит мальчика на ферму к трем сестрам. Те, как всегда, принимают их радушно, угощают глазурованными пирожными и домашним лимонадом Роберты. Мальчик отправляется на обход стойл и сараев, повидаться со старыми друзьями. Пока его нет, он, Симон, рассказывает о беседе с сеньорой Монтойей.

— Страсть к музыке, — говорит он, — вообразите, спрашивать такие вещи у шестилетки — есть ли у него страсть к музыке. У детей бывают увлечения, но страстей им пока не дано.

Сестры ему полюбились. Он ощущает, что им может излить душу.

— Я всегда считала Академию Пения довольно претенциозным заведением, — говорит Валентина. — Но у них высокая планка образования, с этим не поспоришь.

— Если бы Давида каким-то чудом все же приняли, вы бы готовы были помочь с оплатой? — Он повторяет сообщенную ему цифру.

— Конечно, — немедля говорит Валентина. Консуэло и Альма согласно кивают. — Мы в Давиде души не чаем. Он исключительный ребенок. У него впереди большое будущее. Необязательно, впрочем, на оперной сцене.

— Как он справляется с потрясением, Симон? — спрашивает Консуэло. — Должно быть, для него все это ужасно огорчительно.

— Сеньора Арройо ему снится. Он к ней очень привязался, что меня удивляло, поскольку мне она казалась довольно холодной — холодной и

неприступной. Но ему она сразу понравилась. Наверное, увидел в ней какое-то качество, которое я упустил.

— Она была очень красивой. В ней был класс. Вам она разве красивой не показалась?

— Да, она была красивая. Но для маленького мальчика красота — вряд ли довод.

— Вряд ли, пожалуй. Скажите-ка: невинна ли она была во всей этой печальной истории, как думаете?

— Не вполне. У них с Дмитрием давняя история. Дмитрий был ею одержим, он молился земле, по которой она ступала. Так он говорил мне — и всем, кто готов был слушать. Она же обращалась с ним безжалостно. По-свински, вообще-то. Я сам видел. Удивительно ли, что он с цепи сорвался в конце концов? Разумеется, я не пытаюсь его оправдать...

Давид возвращается со своего обхода.

— Где Руфо? — требовательно спрашивает он.

— Он заболел, и мы его усыпили, — отвечает Валентина. — А где твои ботинки?

— Роберта велела снять. Можно мне повидать Руфо?

— Усыпить — это лишь так говорится, мой мальчик. Руфо умер. Роберта подберет нам щенка, он займет место сторожевой собаки, когда вырастет.

— Но где он?

— Не могу сказать. Не знаю. Мы предоставили Роберте это уладить.

— Она не обращалась с ним по-свински.

— Кто с кем, прости, не обращался по-свински?

— Ана Магдалена. Она не обращалась с Дмитрием по-свински.

— Ты подслушивал? Нехорошо, Давид. Нельзя подслушивать.

— Она не обращалась с ним по-свински. Она делала вид.

— Ну, ты лучше знаешь, чем я, конечно. Как твоя мама?

Встревает он, Симон:

— Простите, что Инес сегодня нет: у нее в гостях брат из Новиллы. Он живет у нас в квартире. А я пока переехал.

— Его зовут Диего, — говорит мальчик. — Он ненавидит Симона. Говорит, что Симон — *una manzana podrida*. Говорит, что Инес надо сбежать от Симона в Новиллу. А что это значит — *una manzana podrida*?

— Гнилое яблоко.

— Я понимаю, но что это *значит*?

— Не знаю. Не хотите объяснить ему, Симон, что значит *una manzana podrida*, раз уж вы — это самое *manzana*?

Сестры хохочут.

— Диего на меня злится давно, с тех пор как я увез от него сестру. С его точки зрения, они с Инес и их младший брат счастливо жили вместе, пока не появился я и не выкрал Инес. Что совершенно не так, разумеется, — полное перетолковывание фактов.

— Да? А правда какова? — спрашивает Консуэло.

— Я не крал Инес. У Инес нет ко мне чувств. Она — мать Давида. Она приглядывает за ним, а я — за ними обоими. Вот и все.

— Очень странно, — говорит Консуэло. — Очень необычно. Но мы вам верим. Мы знаем вас и вам верим. Мы совсем не считаем, что вы — *una manzana podrida*. — Сестры согласно кивают. — Поэтому вы, молодой человек, отправляйтесь к брату Инес и сообщите ему, что он в отношении Симона сильно ошибается. Сообщите?

— У Аны Магдалены к Дмитрию была страсть, — говорит мальчик.

— Вряд ли, — говорит он, Симон. — Строго наоборот. Это у Дмитрия была страсть. И его страсть к Ане Магдалене подтолкнула его делать плохое.

— Ты всегда говоришь, что страсть — это плохо, — говорит мальчик. — И Инес. Вы оба ненавидите страсть.

— Вовсе нет. Я не ненавижу страсть, это совершенная неправда. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов скверные последствия страсти. Что скажете, Валентина, Консуэло, Альма: хороша страсть или плоха?

— Я считаю, что страсть — хорошо, — говорит Альма. — Без страсти мир бы остановился. Это было бы унылое и пустое место. Более того, — она взглядывает на сестер, — без страсти нас бы вообще тут не было, никого из нас. Ни свиней, ни коров, ни кур. Мы все здесь благодаря страсти — чьей-то страсти к кому-то. Ее слышно по весне, когда воздух звенит птичьими призывами, — каждая птица ищет спутника. Если это не страсть, тогда что

это? Даже молекулы. Если бы у кислорода не было страсти к водороду, мы бы остались без воды.

Из трех сестер Альма ему нравится больше всего, хотя и без страсти. У нее нет и следа красоты ее сестер. Она низкорослая, даже коренастая, лицо круглое и приятное, но невыразительное, она носит маленькие очки в проволочной оправе, которые ей не идут. Кровная она сестра двум другим или сводная? Они недостаточно близко общаются, чтобы о таком спрашивать.

— Тебе не кажется, Альма, что есть два вида страсти — хорошая и плохая? — говорит Валентина.

— Нет, я считаю, что страсть — одна, везде одинаковая. А у тебя какие мысли, Давид?

— Симон говорит, что мне нельзя иметь мысли, — говорит мальчик. — Симон говорит, я еще слишком юн. Говорит, что пока я не стану старым, как он, мне нельзя иметь мысли.

— Симон городит чепуху, — говорит Альма. — Симон превращается в сморщенное старое *tançana*. — И опять сестры хохочут. — Не обращай на Симона внимания. Скажи нам, что *ты* думаешь.

Мальчик выходит на середину комнаты и без всяких предисловий, прямо в носках, принимается танцевать. Он, Симон, тут же узнает танец. Тот же самый, что показывал старший Арройо на концерте, но Давид исполняет его лучше, изящнее, увереннее, увлеченнее, хотя тот, другой мальчик — сын мастера танца. Сестры смотрят молча, поглощены зрелищем, а мальчик рисует сложные иероглифы, легко огибая вычурные столики и стульчики в гостиной.

«Для этих женщин ты танцуешь, а для меня не стал бы, — думает он. — Ты танцуешь для Инес. Что такого есть в них, чего нет во мне?»

Танец подходит к концу. Давид не кланяется — в Академии так не принято, — однако на миг замирает, выпрямившись, перед их взглядами, веки сомкнуты, на губах легкая мечтательная улыбка.

— Bravo! — говорит Валентина. — Это был танец страсти?

— Это был танец призыва Трех, — говорит мальчик.

— А страсть? — говорит Валентина. — Где здесь страсть?

Мальчик не отвечает и жестом, какого он, Симон, прежде не видел, прижимает три пальца правой руки ко рту.

— Это шарада? — спрашивает Консуэло. — Нам нужно угадывать?

Мальчик не шевелится, но глаза у него хитро поблескивают.

— Я понимаю, — говорит Альма.

— Тогда, может, хоть *ты* нам объяснишь, — говорит Консуэло.

— Здесь нечего объяснять, — говорит Альма.

Когда он сказал сестрам, что мальчику снится Ана Магдалена, то была не вся правда. За все их время вместе — сначала с ним, а потом с Инес, — мальчик засыпал легко, спал крепко и просыпался свежим и полным сил. Но после находки в подвале музея все изменилось. Теперь он постоянно появлялся по ночам у постели Инес — или у его постели,

если ночевал у него, — хныгча и жалуясь на кошмары. В его снах Ана Магдалена является перед ним, синяя с головы до пят, а в руках у нее младенец, «малюсенький-премалюсенький, как горошина»; или же она протягивает ладонь, и младенец — там, свернувшийся, как маленький синий слизняк.

Он изо всех сил старается успокоить мальчика.

— Ана Магдалена тебя очень любила, — говорит он. — Поэтому и навещает во сне. Она приходит попрощаться и сказать, что тебе больше не нужно думать всякое темное, потому что она упокоилась в следующей жизни.

— Мне и Дмитрий снился. Вся одежда у него была мокрая. Дмитрий собирается меня убить, Симон?

— Конечно, нет, — уверяет он, — с чего ему такого хотеть? Кроме того, ты же не настоящего Дмитрия видишь, а Дмитрия, который сделан из дыма. Помашаи руками вот так, — он машет руками, — и он уйдет.

— Но это пенис заставил его убивать людей? Его пенис заставил убить Ану Магдалену?

— Твой пенис тебя ничего такого делать не заставляет. Что-то нашло на Дмитрия, и он сделал то, что сделал, — такое, странное, чего никто из нас не понимает.

— У меня не будет такого пениса, как у Дмитрия, когда я вырасту. Если у меня вырастет большой пенис, я его отрежу.

Он передает этот разговор Инес.

— У него, похоже, такое впечатление, будто взрослые пытаются друг друга убить, когда зани-

маются любовью, что удушение — апогей этого действия. И еще он, похоже, видел Дмитрия голым. У него в голове все перепуталось. Если Дмитрий говорит, что любит его, это значит, что он хочет его изнасиловать и удавить. Лучше б мы никогда этого человека и в глаза не видели!

— Ошибкой было отправлять его в эту так называемую Академию, — говорит Инес. — Я Ане Магдалене никогда не доверяла.

— Смилуйся, — говорит он. — Она мертва. А мы живы.

Он просит Инес о милости, но на самом-то деле разве не странноватой была Ана Магдалена — страннее странной, нечеловеческой? Ана Магдалена и ее стайка детей, как волчица с волчатами. Глаза, что видели насквозь. С трудом верилось, что такие глаза сможет поглотить даже всепожирающий огонь.

— Когда умру, я стану синим, как Ана Магдалена? — спрашивает мальчик.

— Конечно, нет, — отвечает он. — Ты сразу отправишься в следующую жизнь. Будешь там новехоньким человеком. Все будет увлекательно. Приключения — в точности как приключение и эта жизнь.

— А если я не попаду в следующую жизнь, я буду синий?

— Поверь, мой мальчик, следующая жизнь всегда будет. Смерти совсем не надо бояться. Во плоти она завершится, и сразу начнется следующая жизнь.

— Я не хочу в следующую жизнь. Я хочу к звездам.

Глава 13

У судов в Эстрелле есть в отношении преступников право на взыскание в судебном порядке, снятие судимости и освобождение (*recuperación, rehabilitación y salvación*) — это он узнал от своих собратьев-курьеров на велосипедах. Из этого следует два вида судебного процесса: долгий, в котором подсудимый опротестовывает обвинение, а виновность или невиновность должен определить суд, и короткий, где подсудимый признает вину, а задача суда — назначить исправительное наказание.

Дмитрий свою вину признал сразу. Он подписывается не под одним, а сразу под тремя покаяниями, каждое следующее дотошнее предыдущих — во всех излагались подробности того, как он надругался, а затем удавил Ану Магдалену Арройо. Ему дают все возможности приуменьшить его правонарушение («Пил ли он в ту роковую ночь? Умерла ли жертва в результате несчастного случая в ходе эротической игры?»), но он отказывается от всех. То, что он совершил, непростительно, говорит он. Простительно это или нет, не ему решать, отвечают ему допросчики: от него требуют отчета, *почему* он совершил то, что со-

вершил. Здесь третье признание внезапно прекращается.

— Подсудимый отказался сотрудничать далее, — сообщают допрашивающие. — Обвиняемый прибегнул к сквернословию и хулиганству.

Слушания назначают на последний день месяца, когда Дмитрий предстанет перед судьей и двумя заседателями для вынесения приговора.

Через два дня после суда пара официальных лиц в мундирах стучат в дверь к нему, Симону, в съемной комнате и доставляют сообщение: Дмитрий попросил с ним свидания.

— Со мной? — говорит он. — С чего ему разговаривать со мной? Он меня едва знает.

— Понятия не имеем, — отвечают официальные лица. — Пройдите, пожалуйста, с нами.

Они привозят его в полицейский участок, к камерам заключения. Шесть вечера, происходит смена караула, заключенные в камерах готовятся к ужину; ему приходится какое-то время прохладиться, прежде чем его отводят в душную комнату с пылесосом в углу и двумя разномастными стульями, где Дмитрий — волосы коротко стрижены, облачен в отутюженные брюки, рубашку хаки и сандалии, смотрится гораздо опрятнее, чем в пору службы музейным смотрителем, — ждет его.

— Как вы, Симон? — приветствует его Дмитрий. — Как прекрасная Инес и как ваш юнец? Часто о нем думаю. Я его любил, видите ли. Я всех их любил — маленьких танцоров из Академии. А они любили меня. Но теперь все минуло, все минуло.

Его, Симона, и так допекло, что его призвал к себе этот человек, а эта сентиментальная болтовня доводит его до кипения.

— Вы покупали их привязанность сладостями, — говорит он. — Чего вам от меня надо?

— Вы сердитесь, и я понимаю почему. Ужасное сотворил я. Принес скорбь многим сердцам. Мое поведение непростительно, непростительно. Вы правы, что отворачиваетесь от меня.

— Чего вы хотите, Дмитрий? Зачем я здесь?

— Вы здесь, Симон, потому что я вам доверяю. Я перебрал в уме всех своих знакомых, и вы — единственный, кому я доверяю более прочих. Почему я вам доверяю? Не потому, что знаю вас как следует — я не знаю вас как следует, а вы как следует не знаете меня. Вы надежный человек, человек, достойный доверия. Это всем ясно. И вы сдержанный. Я сам — несдержанный, но восхищаюсь сдержанностью в других. Будь у меня другая жизнь, я бы выбрал быть сдержанным, надежным человеком. Но жизнь у меня вот такая, такая мне досталась. Я, увы, то, что есть.

— Давайте к сути, Дмитрий. Зачем я здесь?

— Если сходите в хранилище музея, встанете у подножья лестницы и посмотрите направо — увидите у стены три серых архивных шкафа. Эти шкафы заперты. У меня был ключ, но здесь у меня его отобрали. Впрочем, шкафы эти легко взломать. Просуньте отвертку в зазор над замком и сильно ударьте. Металлическая полоска, которая запирает ящики, выгнется. Попробуйте — сами увидите. Это просто.

В нижнем ящике среднего шкафа — *в нижнем ящике среднего шкафа* — найдете маленькую коробку вроде тех, какие бывают у школьников. В ней бумаги. Я хочу, чтобы вы их сожгли. Все сожгите, не глядя в них. Можно вам это поручить?

— Вы хотите, чтобы я проник в музей, взломал архивный шкаф, выкрал оттуда бумаги и уничтожил их. Какие еще преступные деянья вы желаете, чтобы я совершил от вашего имени, потому что сами вы, сидя за решеткой, не имеете такой возможности?

— Доверьтесь мне, Симон. Я вам доверяю, вы обязаны доверять мне. Эта коробочка к музею отношения не имеет. Она — моя. В ней моя личная собственность. Через несколько дней меня осудят, и кто знает, каков будет приговор? Скорее всего, я никогда не увижу Эстреллы, никогда не войду в двери музея. В городе, который я звал своим, я буду забыт, отправлен в небытие. И это будет правильно, правильно, справедливо и хорошо. Я не хочу, чтобы меня помнили. Я не хочу задерживаться в памяти общества лишь потому, что в руках газетчиков окажется моя сокровеннейшая собственность. Понимаете?

— Я понимаю, но не поддерживаю. Не буду я делать то, что вы просите. А сделаю же я вот что. Отправлюсь к директору музея и скажу ему: «Дмитрий, служивший у вас, сообщает, что на территории музея находятся его личные вещи, бумаги и прочее. Он попросил меня их изъять и вернуть ему в тюрьму. Позволите ли вы это сделать?» Если директор согласится, я принесу бумаги вам. И вы

уже избавляйтесь от них как пожелаете. На это я готов, но ничего противозаконного.

— Нет, Симон, нет-нет-нет! Нельзя их сюда приносить, слишком опасно! Никто не должен их видеть, эти бумаги, даже вы!

— Последнее, чего я хотел бы, — глядеть на эти ваши так называемые личные бумаги. Уверен, там нет ничего, кроме всякой дряни.

— Да! Именно! Дряни! Поэтому их и надо уничтожить! Чтобы в мире стало меньше дряни!

— Нет. Я отказываюсь. Поищите другого.

— Нет больше никого, Симон, кому бы я доверял. Если вы не поможете мне — никто не может. И всего лишь вопрос времени, когда кто-нибудь отыщет их и продаст газетчикам. И тогда скандал вспыхнет вновь, и все старые раны откроются. Вы не можете этого допустить, Симон. Подумайте о детях, которые дружили со мной и озаряли мои дни. Подумайте о своем юнце.

— Скандал, а как же. На самом деле вы просто не хотите, чтобы коллекция ваших сальных картинок была предана огласке, — пусть лучше люди думают о вас хорошо. Вы хотите, чтобы они думали о вас как о человеке страсти, а не как о преступнике со склонностью к порнографии. Я уйду. — Он стучит в дверь, и ее тут же открывают. — Спокойной ночи, Дмитрий.

— Спокойной ночи, Симон. Надеюсь, без обид.

Наступает день приговора. *Crime passionnel* в музее — предмет пересудов по всей Эстрелле, понимает он, объезжая свой рабочий маршрут на велосипе-

де. И хотя он специально приезжает к зданию суда очень заблаговременно, у дверей — толпа. Он протискивается в фойе, где видит громадное отпечатанное объявление: «Смена места и времени проведения. Заседание суда, запланированное на 8.30 утра, сдвигается. Оно состоится в 9.30 утра в *Teatro Solar*».

«Театро Солар» — самый просторный театр в Эстрелле. По дороге туда он заговаривает с человеком, который явился с ребенком — маленькой девочкой ненамного старше Давида.

— Идете на суд? — спрашивает человек.

Он кивает.

— Большой день, — говорит человек. Ребенок, облаченный полностью в белое, с красной лентой в волосах, одаривает его улыбкой.

— Ваша дочка? — спрашивает он.

— Старшая, — отвечает человек.

Он оглядывается по сторонам и в толпе, пробивающейся в театр, замечает еще нескольких детей.

— Думаете, хорошая мысль — приводить ее с собой? — спрашивает он. — Не мала ли она для подобного?

— Хорошая ли мысль? Это как посмотреть, — говорит человек. — Если будет много юридической чепухи и она заскучает, придется отвести ее домой. Но, надеюсь, все будет коротко и по существу.

— У меня сын примерно того же возраста, — говорит он, Симон. — Должен признаться, мне и в голову не приходило брать его сюда.

— Ну, — говорит человек, — видимо, есть разные точки зрения. На мой взгляд, такое крупное

событие может оказаться поучительным — чтобы до юношества дошло, насколько опасно влюбляться в учителей.

— Подсудимый, насколько мне известно, никогда учителем не был, — сухо отвечает он. Затем они входят в театр, и отец с дочерью исчезают в толпе.

Партер уже весь занят, но он отыскивает место на балконе, откуда видно сцену, где установлена длинная скамья, укрытая зеленым сукном, — на-верное, для судей.

Наступает и проходит половина десятого. В зале делается жарко и душно. Вновь прибывшие напирают так, что он оказывается прижат к паркету. Внизу люди сидят в проходах. В публике снует предприимчивый молодой человек — продает воду в бутылках.

Возникает движение. Над сценой зажигают свет. Под охраной облаченного в мундир полицейского появляется Дмитрий — в кандалах. Он замирает и оглядывает публику, ослепленный. Сопровождающий усаживает его на обнесенный веревками пятачок.

Тишина. Из-за кулис появляются трое судей — вернее, судья и двое присяжных, в красных мантиях. Толпа в великом порыве подымается на ноги. Мест в театре, на глаз, примерно двести, но людей сейчас здесь по крайней мере вдвое больше.

Публика усаживается. Судья говорит что-то неразборчивое. Конвоир Дмитрия подсакивает поближе и поправляет микрофон.

— Вы — заключенный, известный под именем Дмитрий? — спрашивает судья. Он кивает конвоиру, тот устанавливает перед Дмитрием отдельный микрофон.

— Да, ваша честь.

— Вас обвиняют в надругательстве над Аной Магдаленой Арройо и в убийстве ее пятого числа марта месяца сего года.

Это не вопрос, а утверждение. Тем не менее Дмитрий отвечает.

— Надругательство и убийство имели место в ночь с четвертого на пятое марта, ваша честь. На эту ошибку в записи я уже указывал. Четвертое марта был последним днем Аны Магдалены на Земле. Это был ужасный день — ужасный для меня и еще более ужасный для нее.

— И вы признали свою вину по обоим обвинениям.

— Трижды. Я сознавался трижды. Я виновен, ваша честь. Приговорите меня.

— Терпение. Прежде чем вас приговорят, у вас будет право обратиться к суду — право, которым, надеюсь, вы воспользуетесь. Сначала вы получите возможность оправдаться, а затем у вас будет право просить о помиловании. Понимаете ли вы, что означают эти понятия: оправдание, помилование?

— Я отлично понимаю, что означают эти понятия, ваша честь, но к моему случаю они отношения не имеют. Я не буду себя оправдывать. Я виновен. Судите меня. Приговорите меня. Обрушайте на меня всю мощь закона. Я не возропщу, даю слово.

В толпе волнение.

— Осудите его! — долетает крик.

— Тихо! — кричат в ответ. В зале гул, шиканье.

Судья вопросительно смотрит на своих коллег — сначала на одного, следом на другого. Поднимает молоток и стучит им — раз, другой, третий. Возня прекращается, восстанавливается тишина.

— Я обращаюсь ко всем, кто потрудился явиться сюда и свидетельствовать правосудию, — говорит он. — Напоминаю вам со всей серьезностью, что правосудие вершится не поспешно, не в угоду публике и уж точно не в обход законного порядка. — Далее обращается к Дмитрию: — Оправдание. Вы говорите, что не можете или не будете оправдываться. Отчего же? Оттого, утверждаете вы, что вина ваша неопровержима. Я спрашиваю: кто вы такой, чтобы предвосхищать это заседание и решать вопрос до суда — вопрос как раз о вашей виновности?

Ваша виновность. Давайте на миг осмыслим эту фразу. Что это значит, что это вообще значит — говорить о *моей вине*, *вашей вине* или *нашей вине* применительно к тем или иным деяниям? А если мы — не есть мы или же не вполне мы, когда происходит рассматриваемое деяние? Было ли оно, это деяние, *нашим*? Почему, когда люди совершают преступные действия, они обычно затем говорят: *я не в силах объяснить, почему я сотворил то, что сотворил, я был вне себя, сам не свой*? Вы стоите сегодня перед нами и утверждаете свою вину. Вы заявляете, что ваша вина неопровержима. Но что, если в тот миг, когда вы делаете подобное за-

явление, вы сам не свой — или не вполне свой? И это далеко не все вопросы, которые суд обязан поставить и затем решить. Не вам, обвиняемый, человек в самом оке бури, эти вопросы решать.

Вы далее говорите, что не хотите себя спасти. Но ваше спасение — не в ваших руках. Если мы, ваши судьи, не сделаем все возможное для вашего спасения, тщательно следуя букве закона, получится, что мы не спасем закон. Разумеется, у нас есть ответственность перед обществом, суровая и изнурительная ответственность оберегать его от насильников и убийц. Однако на нас равная ей ответственность спасти вас, обвиняемый, от вас же — в случае, если вы сейчас или прежде были не собой в той мере, в какой закон понимает бытие собой. Ясно ли я выражаюсь?

Дмитрий молчит.

— Это о вопросе оправдания, от которого вы отказываетесь. Перехожу к вопросу о помиловании, от которого, с ваших слов, вы также отказываетесь. Позвольте сказать вам как мужчина мужчине, Дмитрий: я в силах понять ваше желание вести себя достойно и принять приговор безропотно. Я в силах понять ваше нежелание позориться перед публикой, пресмыкаясь перед законом. Но именно по этой причине имеются адвокаты. Поручая адвокату защищать ваши интересы, вы позволяете ему принять на себя любой срам, какой проистекает из этой защиты. Как ваш представитель он и пресмыкается, так сказать, сохраняя ваше драгоценное достоинство. Итак, позвольте спросить: почему вы отказываетесь от адвоката?

Дмитрий прокашливается.

— Плевал я на адвокатов, — говорит он и сплевывает на пол.

Вмешивается первый присяжный.

— Судья допустил возможность, что вы, возможно, не в себе — в том виде, в каком это понимает закон. К сказанному им позвольте мне добавить, что плевание в суде есть нечто такое, чего человек, пребывая в себе, не сделает.

Дмитрий смотрит на него в упор, ощерившись, как животное в клетке.

— Суд может назначить вам адвоката, — продолжает присяжный. — Еще не поздно. Это в силах суда. Мы можем назначить адвоката и отложить это заседание, чтобы у адвоката было время полностью ознакомиться с делом и решить, как лучше всего действовать дальше.

По толпе пробегает разочарованный ропот.

— Судите меня! — кричит Дмитрий. — А если не осудите, я себе глотку перережу. Повешусь. Вышибу себе мозги. Вы не сможете меня остановить.

— Поберегитесь, — говорит присяжный. — Мой коллега уже признал ваше желание выглядеть достойно. Но, угрожая суду, вы ведете себя недостойно. Напротив — вы ведете себя как безумец.

Дмитрий готов ответить, но судья вскидывает руку.

— Молчите, Дмитрий. Мы все примкнем к вашему молчанию. Помолчим вместе, пусть наши страсти утихнут. После чего рассудим спокойно и разумно, как действовать дальше.

Судья складывает руки и закрывает глаза. Его коллеги делают то же самое. Люди в зале один за другим складывают руки и закрывают глаза. Он, Симон, неохотно следует их примеру. Проходят секунды. Где-то внизу хнычет ребенок. «Пусть наши страсти утихнут, — думает он, Симон. — какую страсть ощущаю я сам, помимо страсти раздражения?»

Судья открывает глаза.

— Итак, — говорит он. — Не оспаривается, что покойная Ана Магдалена скончалась в результате действий обвиняемого Дмитрия. Суд предлагает Дмитрию рассказать эту историю — историю четвертого марта его глазами; для протокола: доведу до всеобщего сведения, что рассказ Дмитрия будет приравнен к самооправданию. Вам слово, Дмитрий.

— Когда лиса держит гуся за горло, — говорит Дмитрий, — она не говорит ему: «Дорогой гусь, в знак моей милости я дам тебе возможность уговорить меня, что ты вовсе не гусь». Нет, лиса откусывает гуся голову, рвет ему грудь и ест его сердце. Вы держите меня за горло. Ну же. Оторвите мне голову.

— Вы — не зверь, Дмитрий, и мы — не звери. Вы — человек, и мы — люди, которым доверили задачу достижения правосудия или, по крайней мере, его подобия. Примкните к нам в этом деле. Доверьтесь закону, его проверенным и испытанным порядкам. Расскажите нам свою историю, начиная с покойной Аны Магдалены. Кем Ана Магдалена вам приходилась?

— Ана Магдалена была учителем танцев и женой директора Академии Танца. Академия Танца занимает этаж над музеем, в котором я служил. Я видел ее ежедневно.

— Продолжайте.

— Я любил Ану Магдалену. Я полюбил ее с первого взгляда. Я преклонялся перед ней. Я на нее молился. Я целовал землю, по которой она ступала. Но она не желала иметь со мной ничего общего. Она считала меня неотесанным. Она смеялась надо мной. И я ее убил. Я надругался над ней, а затем удавил. Вот и все.

— Это не все, Дмитрий. Вы преклонялись перед Аной Магдаленой, вы на нее молились и все же изнасиловали и удушили ее. Нам это трудно понять. Помогите нам. Когда женщина, которую любят, отвергает влюбленного, это задевает его чувства, но, уж конечно, он не бросается убивать эту женщину. Должна быть какая-то дополнительная причина — нечто наверняка случилось в тот день и направило ваши действия. Расскажите подробнее, что произошло в тот день.

Даже со своего места он, Симон, видит, как лицо Дмитрия заливает яростью, видит, как пылко хватается Дмитрий за микрофон.

— Приговорите меня! — орет он. — Покончим с этим!

— Нет, Дмитрий. Мы здесь не для того, чтобы подчиняться вашим приказам. Мы здесь для того, чтобы вершить правосудие.

— Вы не можете вершить правосудие! Вы не способны измерить мою вину! Она неизмерима!

— Напротив, именно за этим мы здесь: измерить вашу вину и решить, какой приговор ей подойдет.

— Как шляпа — голове!

— Да, как шляпа — голове. Вершить правосудие не только по отношению к вам, но и по отношению к вашей жертве.

— Женщину, которую вы именуете моей жертвой, не заботят ваши дела. Она мертва. Ее нет. Никто ее не вернет.

— Напротив, Дмитрий, Ана Магдалена есть. Она сегодня с нами, здесь, в этом театре. Она преследует нас, в особенности — вас. Она не уйдет, пока не получит удовлетворения в том, что справедливость восторжествовала. Следовательно, расскажите нам, что случилось четвертого марта.

Отчетливо слышен треск: корпус микрофона в руках у Дмитрия ломается. Слезы текут из его зажмуренных глаз, словно вода, выжатая из камня. Он медленно качает головой. Доносятся сдавленные слова:

— Я не могу! Не буду!

Судья наливает воду в стакан и дает конвоиру знак передать стакан Дмитрию. Тот шумно пьет.

— Можем продолжить, Дмитрий? — спрашивает судья.

— Нет, — говорит Дмитрий, и слезы теперь текут ручьем. — Нет.

— Тогда сделаем перерыв, чтобы вы успокоились. Возобновим заседание сегодня в два пополудни.

Из зала доносится неудовлетворенное бурчание. Судья резко стучает молотком.

— Молчать! — требует он. — Это не развлечение! Одумайтесь! — И уходит со сцены, а следом за ним и присяжные — и конвоир, толкая перед собой Дмитрия.

Он, Симон, вместе с толпой стекает по лестнице. В фойе он с изумлением натывается на брата Инес Диего — и Давида с ним.

— Ты что здесь делаешь? — требует он ответа у мальчика, не обращая внимания на Диего.

— Я хотел прийти, — говорит мальчик. — Я хотел повидать Дмитрия.

— Уверен, Дмитрию и так унижительно — и без того, чтобы дети из Академии на него пялились. Тебе Инес разрешила прийти?

— Он хочет быть униженным, — говорит мальчик.

— Нет, не хочет. Такое ребенку не понять. Дмитрию не хочется, чтобы с ним обращались как с сумасшедшим. Он хочет, чтобы ему сохранили достоинство.

Их подслушивает незнакомец — худой, похожий на птицу молодой человек с саквояжем. И вмешивается:

— Так, без сомненья же, у человека с головой плохо, — говорит он. — Как иначе можно совершить подобное преступление, если с головой все в порядке? Да еще и требует самого сурового наказания. Нормальный человек станет так делать?

— Что в Эстрелле считается самым суровым наказанием? — спрашивает Диего.

— Соляные копи. Тяжкий труд в соляных копиях, пожизненно.

Диего смеется.

— У вас тут, значит, по-прежнему есть соляные копи!

Молодой человек растерян.

— Да, есть. А что тут такого странного?

— Ничего, — говорит Диего. Но продолжает улыбаться.

— А что такое соляная копь? — спрашивает мальчик.

— Где добывают соль. Как золотые копи, где добывают золото.

— Туда Дмитрия отправят?

— Туда шлют все гнилые яблоки, — говорит Диего.

— А мы его там навестим? Можно нам поехать к соляным копиям?

— Давай не будем опережать события, — говорит он, Симон. — Не думаю, что судья отправит Дмитрия в соляные копи. Такое у меня чутье — исходя из того, как все складывается. Думаю, они решат, что у Дмитрия болезнь головы, и отправят его в больницу, лечиться. И через год-другой он вернется новым человеком, с новой головой.

— Вы, судя по всему, не очень-то высокого мнения о психиатрии, — говорит молодой человек с саквояжем. — Простите, я не представился. Меня зовут Марио. Я учусь в юридической школе. Поэтому я сегодня здесь. Удивительный случай. Ставит фундаментальные вопросы. К примеру, задача суда — восстановление доброго

имени преступника, но насколько суду следует ломать копья, восстанавливая преступнику доброе имя, когда он не желает его восстанавливать, — как этот вот субъект Дмитрий? Может, следует дать ему выбор: восстановление доброго имени посредством соляных копей или же посредством психиатрической больницы. Впрочем, следует ли допускать преступника к вынесению приговора вообще? В юридических кругах, как вы догадываетесь, всегда противились подобному подходу.

Он видит, что Диего уже мается. Он знает Диего, знает, что ему скучно от того, что он зовет «разговорами умников».

— Погожий денек, Диего, — говорит он. — Может, вы с Давидом найдете занятие поинтереснее?

— Нет! — говорит мальчик. — Я хочу остаться!

— Это он сюда захотел прийти, не я, — говорит Диего. — Мне совершенно плевать, что там случится с этим типом Дмитрием.

— Тебе плевать, а мне нет! — говорит мальчик. — Я не хочу, чтобы у Дмитрия была новая голова! Я хочу, чтобы его отправили в соляные копи!

Слушание возобновляется в два пополудни. Вернувшаяся в зал толпа значительно меньше, чем прежде. Он, Диего и мальчик легко находят где сесть.

Дмитрия возвращают на сцену, а за ним появляются судья и присяжные.

— Передо мной показания директора музея, где вы, Дмитрий, служили, — говорит судья. —

Он пишет, что вы всегда честно выполняли свои обязанности и что до недавних событий он считал вас порядочным человеком. Имеются у меня и показания доктора Алехандро Туссэна, специалиста в сфере нервных расстройств, которого суд привлек для оценки состояния вашего рассудка. Доктор Туссэн сообщает, что не смог провести оценку из-за вашего буйного враждебного поведения. Желаете прокомментировать?

Дмитрий каменно молчит.

— И, наконец, есть показания полицейского врача, касающиеся событий четвертого марта. Он пишет, что, на основании проведенной экспертизы, произошел полный половой акт, иными словами, половой акт, завершившийся мужским семяизвержением, и состоялось оно, пока жертва была еще жива. Затем покойная была удушена, вручную. Будете ли опровергать что-либо из сказанного?

Дмитрий молчит.

— Вы спросите, зачем я во всеуслышание сообщил эти отвратительные факты. Я сделал это, чтобы не осталось сомнений: суд полностью осведомлен, насколько ужасное преступление вы совершили. Вы надругались над женщиной, которая вам доверяла, и убили ее самым безжалостным способом. Я содрогаюсь — все мы содрогаяемся — от мысли, что ей пришлось пережить в последние минуты. Недостает же нам понимания того, зачем вы совершили этот бездумный, бессмысленный акт. Вы — заблудшее человеческое существо, Дмитрий, или же вы принадлежите какому-то

другому биологическому виду, без души, без совести? Призываю вас вновь: объяснитесь.

— Я принадлежу к чуждому виду. Мне нет места на Земле. Расправьтесь со мной. Убейте меня. Раздавите под пятой.

— Это все, что вам есть сказать?

Дмитрий молчит.

— Этого недостаточно, Дмитрий, недостаточно. Но от вас более не потребуется разговаривать. Суд лезет из кожи вон, пытаясь отдать вам должное, однако вы противитесь на каждом шагу. Теперь вам предстоит иметь дело с последствиями. Мы с коллегами удаляемся на обсуждение. — Он обращается к конвоиру: — Уведите обвиняемого.

В толпе невеселое шевеление. Остаться? Сколько это еще будет продолжаться? Но не успевают люди отправиться к выходу из зала, как Дмитрия вновь выводят на сцену, а судьи возвращаются на свои места.

— Встаньте, Дмитрий, — говорит судья. — Властью, данной мне, я оглашу приговор. Буду краток. Вы никак не помогли в облегчении вашей участи. Напротив, вы требуете, чтобы мы осудили вас по всей строгости. Вопрос, стоящий перед нами, — в том, исходит ли это желание из вашего сердца, в раскаяние за совершенные вами противоправные действия, или же из больного ума?

Трудный это вопрос. В вашем поведении мы не видим и следа раскаяния. В адрес раздавленного горем супруга жертвы не произнесли вы ни слова извинений. Вы представляетесь человеком без со-

вести. Мы с коллегами имеем все основания для отправки вас в соляные копи и закрытия этого дела.

Однако закон вы преступили впервые. Вы были хорошим работником. Вы с покойной до покушения на ее жизнь обращались почтительно. Какая злая сила завладела вами в тот день, остается для нас загадкой. Вы противитесь любой попытке с нашей стороны понять это.

Наш приговор таков. Вы отправитесь в больницу для невменяемых преступников и будете содержаться там. Медикам будет поручено оценивать ваше состояние раз в год и сообщать суду. В зависимости от их докладов вас могут повторно призвать в будущем в суд и пересмотреть ваш приговор. Всё.

По залу проносится что-то вроде всеобщего вздоха. Это о Дмитриии вздох? Им его жаль? Трудно в это поверить. Судьи удаляются со сцены. Дмитрий повесил голову, его тоже удаляют.

— До свиданья, Диего, — говорит он, Симон. — До свиданья, Давид. Какие планы на выходные? Я тебя увижу?

— Можно поговорить с Дмитрием? — спрашивает мальчик.

— Нет. Это невозможно.

— Я хочу! — И без всякого предупреждения он несетя по проходу, взбирается на сцену. Они с Диего поспешно устремляются следом, за кулисы и далее, по темному коридору. В конце коридора натываются на Дмитрия и его конвоира, который выглядывает через приоткрытую дверь на улицу.

— Дмитрий! — кричит мальчик.

Не обращая внимания на цепи, Дмитрий поднимает мальчика на руки, обнимает его. Конвоир вяло пытается их растащить.

— Они тебя не пустят в соляные копи, Дмитрий? — говорит мальчик.

— Нет, не соляные мне копи, а дурдом. Но я сбегу, будь уверен. Я сбегу и сяду в первый же автобус до соляных копей. Я скажу: «Дмитрий явился к исполнению обязанностей, сударь». Они не посмеют мне отказать. Так что ты, юноша, не тревожься. Дмитрий по-прежнему хозяин своей судьбы.

— Симон говорит, что тебе отрубят голову и дадут новую.

Дверь распахивается, потоком хлещет свет.

— Идем! — говорит конвоир. — Фургон приехал.

— Фургон приехал, — говорит Дмитрий. — Пора Дмитрию. — Он целует мальчика в губы и опускает на пол. — Прощай, мой юный друг. Да, они хотят дать мне новую голову. Такова цена прощения. Они прощают тебя, а потом отрубают тебе голову. Бойся прощения, вот что я скажу.

— Я тебя не прощаю, — говорит мальчик.

— Это хорошо! Вот тебе урок от Дмитрия: никогда не давай им себя прощать — и никогда не слушай, когда тебе обещают новую жизнь. Новая жизнь — ложь, мой мальчик, самая большая ложь из всех. Нет следующей жизни. Есть только эта. Как только дашь отрубить себе голову — тут-то тебе и конец. Лишь тьма и тьма — и ничего, кроме тьмы.

Из слепящего солнечного света возникают двое в мундирах и утаскивают Дмитрия по лестнице. Когда они того и гляди втолкнут его в заднюю дверцу фургона, он оборачивается и кричит:

— Скажи Симону, чтобы сжег сам знаешь что! Скажи ему, что я вернусь и перережу ему глотку, если он не сожжет! — Тут дверца захлопывается, и фургон уезжает.

— Что это было напоследок? — спрашивает Диего.

— Ничего. Он оставил кое-что и хочет, чтобы я это уничтожил. Картинки; которые он вырезал из журналов, — что-то такое.

— Дамы без одежды, — говорит мальчик. — Он мне давал посмотреть.

Глава 14

Его приглашают в кабинет к директору музея.

— Спасибо, что согласились со мной встретиться, — говорит он. — Я пришел по просьбе вашего сотрудника, Дмитрия, который желал бы уберечь и себя, и музей от возможного позора. На вашей территории, сообщает он мне, имеется принадлежащая ему коллекция непристойных изображений. Он бы хотел их уничтожить, пока до них не добралась пресса. Позволите ли вы?

— Непристойные изображения... Вы их видели, сеньор Симон?

— Нет, видел мой сын. Мой сын — ученик Академии Танца.

— И вы утверждаете, что эти изображения были украдены из нашей коллекции?

— Нет-нет, это не такие изображения. Это фотографии женщин, вырезанные из порнографических журналов. Я вам покажу. Я знаю точно, где их искать — Дмитрий сказал мне.

Директор извлекает связку ключей, показывает путь в подвал и отмыкает шкаф, описанный Дмитрием. В нижнем ящике лежит небольшая картонная коробка, директор открывает ее.

Первый снимок — блондинка с вызывающе красными губами сидит на диване, раздвинув ноги, стискивает свои довольно крупные груди и выставляет их вперед.

С возгласом отвращения директор захлопывает коробку.

— Заберите их! — говорит он. — Я не желаю больше ничего об этом слышать.

Там еще с полдюжета подобных же картинок, как выясняет Симон, копаясь в коробке уже у себя дома. Но помимо этого, под картинками находится конверт с женскими трусиками, черными; одна серебряная сережка, простенькая на вид; фотография юной девушки — узнаваемо Аны Магдалены, с котом на руках улыбающейся в объектив; и, наконец, скрепленные резинкой письма, адресованные *Mi amor* от АМ. Ни на одном нет ни дат, ни обратного адреса, но он соображает, что отправлены они были с приморского курорта Агуавива. Они описывают разнообразные отпускные развлечения (плавание, собирание ракушек, прогулки в дюнах) и упоминают Хоакина и Дамиана по именам. «Вновь тоскую по твоим объятьям», — сообщается в одном письме. «Тоскую по тебе страстно (*apasionadamente*)», — значится в другом.

Он читает их, медленно, от начала и до конца, читает повторно, привыкает к почерку — довольно детскому, совсем не такого он ожидал, над каждым *i* водружен прилежный кружочек, — затем складывает их в конверт вместе с фотографией, сережкой и трусиками, убирает конверт в коробку, а коробку задвигает под кровать.

Первая мысль: Дмитрий хотел, чтобы он прочел эти письма, хотел, чтобы он, Симон, знал, что Дмитрия любила женщина, которую он, Симон, возможно, воделел издали, но мужчины в нем, чтобы обладать ею, ему не хватило. Но чем больше он об этом думает, тем менее убедительным кажется такое объяснение. Если у Дмитрия и впрямь был роман с Аной Магдаленой, если его речи о преклонении земле, по которой она ступала, и ее презрительное с ним обращение — лишь прикрытие тайных совокуплений в подвале музея, зачем тогда он в многочисленных своих покаяниях утверждал, что взял ее силой? Более того, зачем Дмитрию, чтобы он, Симон, узнал правду об этой паре, если он, Симон, скорее всего, немедленно уведомит власти, которые столь же немедленно устроят новое слушание? Не лучшее ли объяснение — простейшее, в конце концов: Дмитрий доверил ему сжечь коробку и ее содержимое, не знакомясь с ним?

Но остается главная загадка: если Ана Магдалена была не той женщиной, какой казалась всему белому свету, а ее смерть — не такая, какой представлялась, зачем Дмитрий врал полиции и суду? Чтобы защитить ее имя? Уберечь ее мужа от унижения? Принял ли Дмитрий на себя — из благородства духа — всю вину, чтобы имя Арройо не валяли в грязи?

И все же что сказала или сделала Ана Магдалена вечером четвертого марта, чтобы ее убил мужчина, по чьим объятиям она тосковала — тосковала *apasionadamente*?

А что, если Ана Магдалена никогда не писала этих писем? Что, если все они — подделка, что если его, Симона, используют как инструмент, замышляя очернить ее имя?

Он содрогается. «Он и впрямь безумец! — говорит он себе. — Судья, оказывается, был прав! Ему место в дурдоме, в цепях, за семью замками!»

Он клянет себя. Не надо было вообще ввязываться в дела Дмитрия. Не надо было откликаться на его призывы, разговаривать с директором музея, заглядывать в коробку. А теперь джинна выпустили из бутылки, и он, Симон, понятия не имеет, как поступать. Если отдаст письма полиции — станет сообщником в умысле, чья цель для него темна, то же выйдет, если вернуть коробку директору музея; если же он сожжет коробку или спрячет ее — станет сообщником в другом умысле, умысле представить Ану Магдалену как непорочную мученицу.

Он встает посреди ночи, вытаскивает коробку из-под кровати, заворачивает в запасное покрывало и засовывает на шкаф.

Утром, когда он собирается на склад за листовками, которые ему в тот день предстоит распространить, к дому подъезжает машина Инес, из нее выбираются Диего и мальчик.

Диего явно в скверном настроении.

— Вчера весь день и сегодня этот ребенок нас донимает, — говорит он. — Он нас умаял, и меня, и Инес. И вот мы тут. Скажи ему, Давид, — скажи Симону, чего ты хочешь.

— Я хочу повидать Дмитрия. Я хочу поехать к соляным копиям. Но Инес меня не пускает.

— Конечно, не пускает. Я думал, ты понял. Дмитрий не в соляных копиях. Его послали в больницу.

— Да, но Дмитрий не хочет быть в больнице, он хочет в соляные копи!

— Не уверен, что ты понимаешь, что происходит в соляных копиях, Давид, однако, во-первых, соляные копи — в сотнях километров отсюда, а во-вторых, соляные копи — это не курорт. И поэтому судья отправил Дмитрия в больницу: чтобы спасти его от соляных копий. Соляные копи — место, куда отправляют страдать.

— Но Дмитрий не хочет, чтобы его спасали! Он хочет страдать! Можно мы поедem в больницу?

— Разумеется, нет. Больница, в которую отправили Дмитрия, — не обычная. Это больница для опасных людей. Посетителей туда не пускают.

— Дмитрий не опасный.

— Напротив, Дмитрий чрезвычайно опасный, как выяснилось. Так или иначе, я не собираюсь везти тебя в больницу, Диего тоже. Я больше не желаю иметь с Дмитрием ничего общего.

— Почему?

— Не обязан я тебе этого говорить.

— Потому что ты ненавидишь Дмитрия! Ты всех ненавидишь!

— Как же легко ты с этим словом обращаешься. Никого я не ненавижу. Я просто не хочу иметь никаких дел с Дмитрием. Он нехороший человек.

— Он хороший человек! Он меня любит! Он меня признает! А ты меня не любишь!

— Это неправда. Я тебя люблю. Я люблю тебя гораздо сильнее, чем Дмитрий. Дмитрию неизвестен смысл любви.

— Дмитрий многих людей любит. Он любит их, потому что у него большое сердце. Он мне сам говорил. Не смейся, Диего! Чего ты смеешься?

Диего не может унятьсья.

— Он правда так и сказал? Что если у тебя большое сердце, ты в силах любить многих людей? Может, он имел в виду многих девиц.

Смех Диего распаляет мальчика еще сильнее. Он возвышает голос.

— Это правда! У Дмитрия большое сердце, а у Симона — малюсенькое, вот так Дмитрий говорит. Он говорит, что у Симона малюсенькое сердце, как клоп, и он никого не может любить. Симон, это правда, что Дмитрий сделал половой акт с Аной Магдаленой, чтобы она умерла?

— Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Он дурацкий. Это нелепо. Ты понятия не имеешь, что такое половой акт.

— Имею! Инес мне объяснила. Она делала половые акты много раз — и она их терпеть не может. Говорит, это ужас.

— Как бы то ни было, я не собираюсь больше отвечать ни на какие вопросы о Дмитриии. Я не желаю слышать это имя. С меня хватит.

— Но почему он сделал ей половой акт? Почему ты мне не скажешь? Он хотел, чтобы у нее сердце встало?

— Хватит, Давид. Успокойся. — И Диего: — Вы же видите, что ребенок расстроен. У него с тех пор... с того события кошмары по ночам. Ему помогать надо, а не смеяться над ним.

— Скажи! — орет мальчик. — Почему ты мне не скажешь? Он хотел сделать ей внутри ребенка? Он хотел, чтоб у нее сердце встало? У нее может быть ребенок, если даже у нее сердце встало?

— Нет, не может. Когда мать умирает, ребенок у нее внутри тоже умирает. Такое правило. Но Ана Магдалена не собиралась иметь ребенка.

— Откуда ты знаешь? Ты ничего не знаешь. Дмитрий сделал так, что у нее ребенок посинел? Мы можем заново ей сердце запустить?

— Ана Магдалена не собиралась иметь ребенка, и нет, мы не можем запустить ей сердце, потому что сердце так не работает. Если оно останавливается — это навсегда.

— Но когда у нее будет новая жизнь, у нее сердце снова забьется, правда?

— В некотором смысле да. В следующей жизни у Аны Магдалены будет новое сердце. Не только новая жизнь и новое сердце у нее будут, она и не вспомнит ничего про всю эту нелепую кутерьму. Она не вспомнит про Академию — и не вспомнит про Дмитрия, а это большое благо. Она сможет начать все заново — как мы с тобой, отмытые от прошлого, от плохих воспоминаний, которые бы ее тяготили.

— Ты простил Дмитрия, Симон?

— Не меня Дмитрий покалечил, и потому не мне его прощать. Ему Аны Магдалены прощение нужно. И сеньора Арройо.

— Я его не простил. Он не хочет, чтобы его прощали.

— Это просто громкие слова, извращенные. Он хочет, чтобы мы думали о нем как о неукротимом человеке, который делает такое, что нормальные люди делать боятся. Давид, я разговорами об этом человеке сыт по горло. Для меня он умер и забыт. Мне пора по делам. В следующий раз, когда у тебя будут кошмары, вспомни, что достаточно помахать руками, и все развеется, как дым. Помаши руками и скажи: «Изыди!» — как Дон Кихот. Поцелуй меня. Увидимся в пятницу. До свиданья, Диего.

— Я хочу к Дмитрию! Если Диего меня не отвезет, я сам поеду!

— Езжай, только тебя не пустят. Место, где его содержат, — не обычная больница. Это больница для преступников, вокруг нее стены — и охранники со сторожевыми собаками.

— Я с собой Боливара возьму. Он перебьет сторожевых собак.

Диего открывает дверцу машины. Мальчик забирается внутрь, сидит скрестив руки на груди, дуется.

— Если хотите знать мое мнение, — тихо говорит Диего, — этот вот совершенно от рук отбился. Вам с Инес надо что-то с этим делать. Отправьте его в школу — для начала.

Как выясняется, в отношении больницы он заблуждался — полностью заблуждался. Психиатрической лечебницы, какой он себе ее представ-

лял, — далеко за городом, за высокими стенами и со сторожевыми собаками, — не существует. А существует всего лишь городская больница с довольно скромным психиатрическим крылом — та же больница, где Дмитрий когда-то работал, прежде чем перешел на службу в музей. Среди санитаров есть те, кто тепло вспоминает его, еще по старым временам. Не обращая внимания на то, что он теперь — во всем сознавшийся убийца, они его балуют, носят ему угощение из служебной столовой, снабжают сигаретами. У него своя палата в той части крыла, которая «С ограниченным доступом», в палате есть душ и стол с лампой.

Обо всем этом — о сигаретах, угощение, душевой — он узнает, когда на следующий день после визита Диего возвращается домой после своих велосипедных разъездов и обнаруживает сознавшегося убийцу у себя на кровати, спящего, а мальчик сидит на полу, играет в карты. Изумление его таково, что он вскрикивает, на что мальчик, прижимая палец к губам, шепчет: «Тс-с!»

Он подходит к кровати и сердито трясет Дмитрия за плечо.

— Вы! Что вы здесь делаете!

Дмитрий садится.

— Успокойтесь, Симон, — говорит он. — Я скоро уйду. Просто хотел удостовериться, что... ну вы понимаете... Вы сделали, как я просил?

Он отметаает вопрос.

— Давид, как этот человек здесь оказался?

На вопрос отвечает сам Дмитрий:

— Мы приехали на автобусе, Симон, как обычные люди. Успокойтесь. Юный Давид зашел навестить меня, как добрый друг. Мы поболтали. А потом я надел свою санитарную форму, как в старые времена, малец взял меня за руку, и мы ушли, с ним вместе, вот так. Он мой сын, сказал я. Какой милый мальчик, сказали они. Конечно, форма помогла. Люди доверяют форме — это, в частности, и узнаешь о жизни. Мы вышли из больницы и приехали прямо сюда. И когда мы с вами доделаем наше дело, я вернусь на автобусе обратно. Никто даже не заметит, что меня нет.

— Давид, это правда? Больница для невменяемых преступников выпускает людей наружу?

— Он хотел хлеба, — говорит мальчик. — Он сказал, что ему в больнице не дают хлеба.

— Чушь. У него трехразовое питание и хлеба сколько хочешь.

— Он сказал, что хлеба не дают, и я принес ему хлеба.

— Сядьте, Симон, — говорит Дмитрий. — И сделайте мне одолжение. — Он достает пачку сигарет, прикуривает. — Не оскорбляйте меня — хотя бы на глазах у мальчика. Не называйте меня невменяемым преступником. Потому что это неправда. Преступник — да, возможно, однако не невменяемый, нисколько.

Хотите узнать, что сказали врачи — которым велели выяснить, что со мной не так? Нет? Ладно, про врачей не буду. Поговорим лучше об Арройо. Я слышал, им пришлось закрыть Акаде-

мию. Какая жалость. Мне Академия нравилась. Мне нравилось быть среди юных, среди маленьких танцоров, такие они все счастливые были, столько в них жизни. Жаль, что я в такую Академию не ходил, когда был ребенком. Кто знает, может, все сложилось бы иначе. И все же что толку плакать о пролитом молоке, а? Что сделано, то сделано.

«Пролитое молоко». Эта фраза его разъяряет.

— Над пролитым вами молоком плачет много людей, — взрывается он. — За вами осталось много разбитых сердец — и много гнева.

— И это я могу понять, — говорит Дмитрий, вальяжно попыхивая сигаретой. — Думаете, я не осознаю громадность своего преступления, Симон? Иначе зачем, как вы думаете, я вызвался добровольно на соляные копи? Соляные копи — не для слюнтяев. Нужно быть мужчиной, чтобы выжить в соляных копиях. Дали бы мне разнарядку в больнице, я бы уже завтра был на соляных копиях. «Дмитрий явился, — сказал бы я начальнику копей, — цел, невредим, готов к труду!» Но меня не выпустят — психологи эти и психиатры, специалисты по отклонениям таким и сяким. «Расскажите нам о своей матери, — говорят. — Мать вас любила? Когда вы были ребенком, она давала вам грудь? Каково вам было ее сосать?» Что мне им ответить? Что я помню о своей матери и ее грудях, если я вчерашний день едва вспоминаю? Ну я и говорю им, что на ум взбредет. «Как сосать лимон», — говорю. Или — «Как свинина, все равно что сосать свиное ребрыш-

ко». Потому что она так работает, психиатрия, правда же? Говоришь первое, что придет в голову, а они уходят и анализируют, а потом говорят, что с тобой не так.

Они все так мною интересуются, Симон! Поразительно. Я собою не интересуюсь, а они — интересуются. По мне, я — обычный преступник, обычный, как сорняк. А для них я нечто особенное. У меня нет совести — или, наоборот, слишком много совести, этого они пока не могут решить. Если совести слишком много, хочу я им сказать, совесть тебя сжирает, и ничего от тебя не остается, как паук жрет осу или оса жрет паука, никак не могу запомнить, кто кого, но остается одна лишь оболочка. Что думаете, молодой человек? Знаете, что такое совесть?

Мальчик кивает.

— Конечно, знаете! Вы понимаете старика Дмитрия лучше всех остальных — лучше, чем все психологи на свете. «Что вам снится? — спрашивают они. — Может, вам снится, что вы падаете в темные ямы или что вас глотают драконы?» — «Да, — говорю, — да, точно так!» А ты меня никогда про мои сны не спрашивал. Ты меня, как увидел, — сразу понял. «Я понимаю тебя и не прощаю». Этого я никогда не забуду. Он правда особенный, Симон, этот ваш мальчик. Особый случай. Мудрый не по годам. Вам бы у него поучиться.

— Давид — не особый случай. Нет такого — особого случая. Ни он не особый случай, ни вы. Никого этот ваш спектакль безумия не трогает, Дмитрий, ни на минуту. Надеюсь, что вас по-

шлют на соляные копи. Это положит конец вашей чепухе.

— Славно сказано, Симон, славно сказано! Я вас люблю за это. Я бы вас поцеловал, но вы мне не дадите: вы — не из целующихся мужчин. А вот сынок ваш всегда готов старика Дмитрия целовать, правда, мой мальчик?

— Дмитрий, ты зачем сделал так, что у Аны Магдалены сердце встало? — спрашивает мальчик.

— Хороший вопрос! Это врачи хотят знать больше всего. Их она будоражит — мысль эта: стиснуть красивую женщину в объятиях так, чтобы у нее сердце встало, — да только им стыдно спрашивать. Они не дерзают спросить впрямую, как ты, нет, они идут в обход, как змеи. «Вас мама любила? Каково оно было на вкус, молоко вашей матери?» Или этот судья-дурак: «Кто вы? Вы в себе?»

Зачем я остановил ей сердце? Я тебе скажу. Мы были вместе, мы с ней, и вдруг мне в голову пришла мысль — появилась и не хотела уходить. Я подумал: «Почему бы не взять ее за горло, пока она, ну, в корчах, и не задать ей трепку? Показать, кто здесь хозяин. Показать, что такое на самом деле любовь».

Убить того, кого любишь: вот этого старик Симон никогда не поймет. Но ты же поймешь, верно? Ты понимаешь Дмитрия. С первого мига понимал.

— Она не пошла бы за тебя замуж?

— Замуж? Нет. С чего бы даме вроде Аны Магдалены выходить замуж за такого, как я? Я — грязь, мой мальчик. Старик Симон прав. Я грязь,

и моя грязь пачкает всякого, кто ко мне прикасается. Поэтому мне и надо на соляные копи, где все — грязь, где я буду на своем месте. Нет, Ана Магдалена меня отвергла. Я любил ее, я преклонялся перед ней, я бы ради нее сделал что угодно, но она со мной не желала иметь ничего общего, ты сам видел — все видели. И я устроил ей большой сюрприз — остановил ей сердце. Прочил ее. Дал такое, о чем можно подумать.

Нисходит тишина. И тогда заговаривает он, Симон.

— Вы спрашивали о ваших бумагах — о бумагах, которые просили меня уничтожить.

— Да. Зачем еще стал бы я утруждаться уходом из больницы, приездом сюда? Чтобы выяснить про бумаги, конечно. Ну же. Говорите. Я вам доверял, а вы мое доверие обманули. Вы это хотите сказать? Говорите же.

— Я ничьего доверия не обманывал. Но скажу вот что. Я видел, что там, в коробке, включая сами знаете что. Следовательно, я знаю, что история, которую вы рассказываете, — неправда. Больше ничего не скажу. Но не собираюсь я стоять себе кротко, словно овца, и позволять, чтоб мне лгали.

Дмитрий поворачивается к мальчику.

— Есть ли у тебя что-нибудь поесть, мой мальчик? Дмитрий что-то проголодался.

Мальчик подскакивает, копается в буфете, возвращается с пачкой печенья.

— Имбирные хрустики! — говорит Дмитрий. — Хотите имбирный хрустик, Симон? Нет? А ты, Давид?

Мальчик берет у него печенье, откусывает.

— Так это, стало быть, имеет общественную огласку? — говорит Дмитрий.

— Нет, не имеет.

— Но вы собираетесь использовать это против меня.

— Что использовать против тебя? — спрашивает мальчик.

— Не бери в голову, сынок. Это между мной и стариком Симоном.

— Это зависит от того, что вы имеете в виду под «против». Если вы сдержите обещание и исчезните в соляных копиях до скончания ваших дней, тогда то, о чем мы говорим, не будет иметь никаких последствий, хоть так, хоть эдак.

— Не играйте со мной в логические игры, Симон. Мы оба знаем, что значит «против». Почему вы не сделали, как вас просили? Гляньте, во что вы теперь вляпались.

— Я? Я ни во что не вляпался, вляпались вы.

— Нет, Симон. Завтра, или послезавтра, или послепослезавтра я смогу отправиться на соляные копи и заплатить по своим долгам, очистить совесть, а вы — *вы* — останетесь здесь, вляпавшись.

— Вляпавшись во что, Дмитрий? — спрашивает мальчик. — Почему ты мне не говоришь?

— Я тебе скажу во что. «Бедный Дмитрий! Справедливо ли мы с ним поступили? Разве не следовало нам старательнее его спасать, превратить в порядочного гражданина и созидательного члена общества? Каково ему будет маяться в соляных копиях, тогда как мы тут живем припеваючи в

Эстрелле? Разве не стоило нам выказать ему крупицу милосердия? Не позвать ли нам его назад, сказать, дескать, все прощено, Дмитрий, вот тебе твоя прежняя работа, твой мундир, пенсия, только скажи, что ты раскаялся, чтоб нам было полегче?» Вот во что, мой мальчик. В экскременты, валяться в них, как свинья. Валяться в собственном дерьме. Почему вы попросту не сделали, как прощено, Симон, а втянулись в эту дурацкую игру спасения меня от меня же? «Отправьте его к врачам, скажите им, пусть отвинтят ему старую голову и привинтят новую». А таблетки, которыми они там пичкают! Хуже, чем соляные копи, — быть в дурдоме! Пережить сутки — все равно что брести по глине. Тик-так, тик-так. Жду не дождусь начать жить заново.

Он, Симон, дошел до края собственного терпения.

— Довольно, Дмитрий. Прошу вас, уходите. Немедленно, иначе я вызову полицию.

— А, так значит, прощаемся, да? А ты, Давид? Ты тоже с Дмитрием простишься? «Прощай, увидимся в следующей жизни». Вот так все и будет? Я думал, мы понимаем друг друга, ты да я. Старик Симон над тобой поработал, вытряс из тебя доверие ко мне? «Он плохой человек, как такого плохого можно любить?» Кто когда бросал кого любить из-за того, что он плохой? Я Ане Магдалене сделал хуже некуда, а она все равно меня любить не переставала. Она меня, может, ненавидела, но это не значит, что не любила. Любовь и ненависть: одно без другого не бывает. Как соль

и перец. Как черное и белое. Вот что люди забывают. Она меня любила и ненавидела, как любой нормальный человек. Как Симон вот. Думаешь, Симон все время тебя любит? Конечно, нет. Он тебя любит — и ненавидит, внутри у него все перемешано, он просто тебе не говорит. Нет, он это хранит в тайне, делает вид, что у него внутри все мило и мирно, никаких волн, никакой ряби. Так же, как он разговаривает, наш знаменитый разумник. Но поверь, у старика Симона нашего внутри такой же кавардак, как у тебя или у меня. Вообще-то — еще больший кавардак. Потому что я, по крайней мере, не изображаю из себя то, чего нет. «Я вот такой, — говорю я, — и вот так говорю, все вперемешку». Ты меня слушаешь, мой мальчик? Усваивай мои слова, пока можешь, потому что Симон хочет меня выгнать — из твоей жизни. Слушай хорошенько. Когда ты меня слушаешь — слушаешь правду, а чего мы в конце концов хотим, кроме правды?

— Но когда ты увидишь Ану Магдалену, в следующей жизни, ты ей больше сердце не остановишь, правда?

— Не знаю, мой мальчик. Может, и не будет следующей жизни — ни у тебя, ни у кого из нас. Может, солнце внезапно заполнит все небо и поглотит нас, и тогда всем нам конец. Ни Дмитрия. Ни Давида. Лишь громадный шар огня. Вот так вот мне видится иногда. Такое мое видение.

— А потом?

— А потом ничего. Много огня, а потом много тишины.

— Но это правда?

— Правда? Кому знать? Это все в будущем, а будущее — тайна. Что сам думаешь?

— Я думаю, это неправда. Я думаю, ты просто так говоришь.

— Ну, если ты говоришь, что это неправда, значит, неправда, потому что ты, юный Давид, — царь Дмитрия, и твое слово для Дмитрия — закон. Но, возвращаясь к твоему вопросу, нет, опять я так не сделаю. Соляные копи исцелят меня от моей скверны насовсем, от моей ярости и жестокости. Они вышибут из меня всю дурь. Так что не волнуйся, Ана Магдалена в безопасности.

— И тебе больше нельзя делать ей половой акт.

— Никаких половых актов! Юноша ваш очень строг, Симон, очень категоричен. Но он уймется, когда вырастет. Половой акт — часть человеческой природы, мой мальчик, от него никуда не деться. Даже Симон согласится. Не деться от него, правда, Симон? Не деться от удара молнии.

Он, Симон, нем. Когда его в последний раз било молнией? Не в этой жизни.

И вдруг Дмитрий словно теряет к ним интерес. Взгляд его беспокойно мечется по комнате.

— Пора ехать. Пора возвращаться к себе в одинокую клеть. Ничего, если я себе печенью оставлю? Мне нравится время от времени погрызть печеньице. Заезжай еще повидаться, молодой человек. Можем покататься на автобусе — или сходить в зоопарк. Я был бы рад. Мне всегда нравится с тобой болтать. Ты один Дмитрия на самом деле понимаешь. Психологи и психотерапевты

с этими их вопросами — им попросту невдомек, что я такое, человек или зверь. Но ты меня видишь насквозь, до самого сердца. Давай, обними-ка Дмитрия.

Крепко стиснув мальчика, он вздергивает его вверх, шепчет ему на ухо, что — он, Симон, не может разобрать. Мальчик энергично кивает.

— Прощайте, Симон. Не верьте всему, что я говорю. Это просто дух, дух, который дышит, где хочет¹.

Дверь за ним закрывается.

¹ Иоанн, 3:8, парафраз.

Глава 15

В реестре курсов по испанскому языку, предложенном Институтом, он выбирает «Сочинение на испанском (базовый)». «Студенты, поступающие на этот курс, обязаны владеть разговорным испанским языком. Мы научимся писать ясно, логично и в хорошем стиле».

Он в классе самый старший. Даже учительница молоденькая — привлекательная девушка, брюнетка с темными глазами, предлагает им называть ее просто Мартиной.

— Пусть каждый из вас расскажет, по кругу, кто вы и что надеетесь получить от этого курса, — говорит Мартина.

Когда доходит очередь до него, он говорит:

— Меня зовут Симон, я работаю в рекламном деле, хоть и в самых низах. Я говорю по-испански больше года и владею им довольно свободно. Пора научиться писать ясно, логично и в хорошем стиле.

— Спасибо, Симон, — говорит Мартина. — Следующий?

Конечно, ему хочется писать хорошо. Кто ж не хотел бы? Но он здесь, если совсем точно, не поэтому. Зачем он здесь, он разберется, пребывая здесь.

Мартина раздает экземпляры хрестоматии к курсу.

— Прошу вас обращаться с методичками бережно, как с другом, — говорит Мартина. — В конце курса я попрошу вас их сдать, чтобы они стали друзьями другим студентам. — Его экземпляр изрядно потрепан, многое подчеркнуто чернилами и карандашом.

Они читают два образца делового письма: письмо от Хуана, устраивающегося на работу продавцом, и письмо от Луизы ее домовладельцу о прекращении съема квартиры. Они уделяют внимание формулировкам обращения и прощания. Изучают разбиение на абзацы и форму самих абзацев.

— Абзац — единица мысли, — говорит Мартина. — Он излагает мысль и связывает предыдущую мысль с последующей.

Первое задание — поупражняться в составлении абзацев.

— Расскажите мне что-нибудь о себе, — говорит Мартина. — Не все, но хоть что-то. Расскажите мне это в трех абзацах, связанных последовательно.

Он одобряет взгляды Мартины на композицию и упражнение выполняет старательно. «Я прибыл в эти земли с единственной всепоглощающей мыслью, — пишет он, — убересть от вреда одного маленького мальчика, оказавшегося под моей опекой, и передать его матери. Со временем я нашел его мать и соединил их друг с другом».

Таков первый абзац.

«Однако мои обязанности на том не исчерпались», — пишет он. *Однако* — связующее слово. «Я продолжил присматривать за матерью и ребенком, заботиться об их благополучии. Когда их благополучию грозила беда, я привез их в Эстреллу, где мы и обосновались и где мальчик, именуемый Давидом, теперь живущий со своей матерью Инес и дядей Диего (мы с Инес более вместе не проживаем), чувствует себя хорошо».

Конец второго абзаца. Начало третьего и последнего абзаца, вводимое связующим словом «ныне».

«Ныне я неохотно признаю, что мой долг выполнен, что у мальчика больше нет во мне нужды. Пора мне завершить эту главу своей жизни и начать новую. Начало этой новой главы связано с этим проектом выучиться писать, хотя как именно связано, мне пока неясно».

Достаточно. Вот три обязательных абзаца, удачно связанные между собой. Четвертый абзац, возьмись он его писать, был бы уже избыточным относительно задания и посвящен был бы Дмитрию. Связующего слова он пока не придумал — слова, с которым четвертый абзац ясно и логично вытекал бы из третьего, но после этого связующего слова он бы написал: «Здесь, в Эстрелле, я познакомился с человеком по имени Дмитрий, который позднее обрел дурную славу насильника и убийцы. Дмитрий неоднократно насмеялся над моим стилем речи, который мне видится в целом невозмутимым и разумным». Подумав, он заменяет слово «невозмутимый» на «холодный». «Дмитрий

считает, что стиль разоблачает человека. Дмитрий не стал бы писать, как я сейчас, параграфами, связанными друг с другом. Дмитрий назвал бы это бесстрастным письмом, как именует меня бесстрастным человеком. Человек страстей, сказал бы Дмитрий, изливает себя без всяких абзацев.

И хотя к этому человеку, Дмитрию, нет во мне никакого уважения, — продолжил бы он в пятом абзаце, — меня его критика задевает. Почему задевает? Потому что он говорит (и здесь я с ним мог бы согласиться), что холодная разумная личность — не лучший наставник для мальчика по натуре порывистого и пылкого.

Следовательно (шестой абзац), я хочу стать другим человеком». И здесь он останавливается — посреди абзаца. Этого достаточно, более чем достаточно.

На второй встрече класса Мартина рассказывает далее о жанре делового письма — в особенности письма-заявки.

— Письмо-заявку можно мыслить себе как акт соблазнения, — говорит она. — В нем мы представляем себя в самом выгодном свете. «Вот кто я такой, — говорим мы, — разве не привлекателен? Наймите меня — и я буду ваш». — По классу пробегает волна веселья. — Но, разумеется, наше письмо должно быть в то же время деловым. Должно быть равновесие. Чтобы составить хорошее письмо-заявление, необходимо определенное мастерство — мастерство самопредставления. Сегодня мы поработаем над этим мастерством — постараемся им овладеть и сделать своим.

Мартина его интригует: такая молодая, а уже такая уверенная в себе.

В середине занятия есть десятиминутный перерыв. Пока студенты выплывают в коридор или в уборную, Мартина читает их домашние работы. Когда все собираются, она раздает их ученикам. На его листке она написала: «Хорошее разбиение на абзацы. Необычное содержание».

Их второе задание — написать письмо-заявление на «работу мечты, работу, которую вы больше всего хотели бы получить», по словам Мартины.

— Не забывайте представлять себя привлекательно, — добавляет она. — Сделайте себя желанным.

«*Estimado señor Director*, — пишет он. — Я откликаюсь на объявление в сегодняшней «Звезде» о поиске кандидатов на должность музейного хранителя. Пусть у меня и нет опыта в этой сфере, я располагаю несколькими качествами, которые делают меня желанным кандидатом. Во-первых, я зрелый и надежный человек. Во-вторых, я люблю или по крайней мере уважаю искусство, в том числе и визуальное. В-третьих, ожидания у меня невысокие. Если меня назначат на должность хранителя, я не пожелаю на следующий же день продвижения до старшего хранителя и уж тем более директора».

Он делит написанный фрагмент прозы на пять коротких абзацев.

«Не могу по чести утверждать, — добавляет он, — что работа музейного хранителя — моя мечта. Однако я достиг определенной кризисной точки

в жизни. «Ты обязан измениться», — сказал я себе. Но как измениться? Возможно, объявление, на которое упал мой взгляд, — знак для меня лично, знак с небес. «Следуй за мной», — сказала «Звезда». И я слеую, а моя заявка и есть это следование».

Таков у него шестой абзац.

Он вручает письмо Мартине, все шесть абзацев. В перерыве не уходит из класса, остается за партой, исподтишка подглядывает, как она читает, наблюдает за быстрыми решительными движениями ее авторучки. Замечает, когда она добирается до его письма: его она читает дольше, нахмурившись. Взглядывает на него и видит, что он на нее смотрит.

В конце перерыва возвращает студентам написанное. На его работе помечено: «Пожалуйста, останьтесь после занятия».

После занятия он ждет, пока все остальные разойдутся.

— Симон, я прочла ваша задание с интересом, — говорит она. — Вы хорошо пишете. Однако не уверена, самый ли это подходящий для вас курс. Может, вам будет уютнее на курсе творческого письма? Еще не поздно сменить, между прочим.

— Если вы сообщаете мне, что я должен уйти с вашего курса, я уйду, — отвечает он. — Но свой стиль я творческим не считаю. На мой взгляд, это такой же стиль, каким люди ведут дневники. Ведение дневника — не творческое дело. Это разновидность эпистолярного жанра. Человек пишет письма сам себе. Впрочем, я понимаю, о чем вы.

Мне тут не место. Я более не буду тратить ваше время. Спасибо. — Он вынимает из сумки методичку. — Позвольте вернуть.

— Не обижайтесь, — говорит она. — Не уходите. Не бросайте курс. Я буду и дальше читать ваши домашние работы. Но читать я их буду в точности так же, как и работы других студентов: как учитель — письма, а не доверительное лицо. Принимаете такие условия?

— Да, — говорит он. — Спасибо. Я ценю вашу доброту.

В третьем задании их просят описать предыдущую работу и составить резюме своих образовательных навыков.

«Я служил чернорабочим, — пишет он. — Ныне я зарабатываю себе на жизнь, раскладывая листовки по почтовым ящикам. Всё оттого, что я уж не так силен, как прежде. Вдобавок к недостатку физической силы мне не хватает страсти. Таково, по крайней мере, мнение Дмитрия, человека, о котором я писал ранее, человека страсти. Однажды вечером страсть Дмитрия перекипела через край до такой степени, что он убил свою любовницу. Что до меня, я не имею желаний никого убивать — и уж, во всяком случае, того, кого я мог бы любить. Дмитрий смеется, когда я так говорю, — когда говорю, что никогда не убил бы того, кого люблю. Согласно Дмитрию, где-то в глубине любой из нас алчет убить того, кого любит. Любой из нас желает убить возлюбленного, однако лишь немногие избранные души имеют смелость воплотить свое желание.

Ребенок чует труса, говорит Дмитрий. Ребенок чует и лжеца, и лицемера. Оттого, согласно Дмитрию, и исчерпывается любовь Давида ко мне — как к трусу, лжецу и лицемеру. В притяжении же Давида к личностям вроде самого Дмитрия (признавшегося убийцы) и дяди Давида, Диего (по моему мнению, человека никудышного и забияки), Дмитрий видит глубокую мудрость. Дети приходят в мир с чутьем на хорошее и истинное, говорит он, но утрачивают эту способность, когда встраиваются в общество. Давид, по мнению Дмитрия, — исключение. Давид сохранил внутренние способности в чистейшем виде. И за это Дмитрий его уважает, более того — благоговеет перед ним, или же, по его словам, признает его. Мой владыка, мой царь — вот как он его называет, не без налета насмешки.

«Как можно признать кого-то, если ни разу его не видел?» Вот какой вопрос хотел бы я задать Дмитрию.

Знакомство с Дмитрием (которого я не люблю и, разумеется, с нравственной точки зрения не выношу) оказалось для меня поучительным. Я бы даже отметил его среди моих образовательных навыков.

Мне кажется, я открыт к новым идеям, в том числе и к идеям Дмитрия. Думаю, очень вероятно, что суждение Дмитрия обо мне верно: как отец, или отчим, или наставник в жизни я для такого ребенка, как Давид, не тот человек, для ребенка исключительного, ребенка, который всегда напоминает мне, что я его не знаю или не понимаю.

Следовательно, похоже, пришло мне время устранить и найти себе в жизни другую роль, другой предмет или душу, на что или кого излить все, что там во мне есть, — иногда просто разговорами, иногда слезами, иногда тем, что я по-прежнему именую любовной заботой.

Любовная забота — формулировка, которую я бы без промедленья применил в дневнике. Но это, разумеется, не дневник. И потому заявление о подвижности любовной заботой — громкое.

Продолжение последует.

В виде примечания позвольте добавить несколько слов о слезах.

Слезы во мне вызывает определенная музыка. Если во мне нет страсти, откуда тогда эти слезы берутся? Я пока не видел, чтобы до слез музыка растрогала Дмитрия.

В виде второго примечания позвольте сказать кое-что о псе Инес, Боливаре, в смысле — о псе, который появился вместе с Инес, когда она согласилась быть Давиду матерью, но который стал псом Давида в том смысле, в каком мы говорим о человеке, который охраняет нас как «наш» сторож, хотя власти над ним или над ней у нас никакой.

Собаки, как и дети, говорят, чуют трусов, лжецов и так далее. Боливар с первого же дня безоглядно принял меня в семью. Дмитрию это наверняка должно подбросить пищу для размышлений».

Когда сеньора Мартина — он не может называть ее просто Мартиной, вопреки ее юности — раздает проверенные домашние работы остатку

класса, его работу она ему не отдает. Проходя мимо его парты, она бормочет:

— После занятий, прошу вас, Симон. — Слова, легкое облако аромата, для которого у него нет названия.

Сеньора Мартина юна, привлекательна, умна, он восхищается ее уверенностью, осведомленностью и темными глазами, но он в нее не влюблен, как не был влюблен в Ану Магдалену, которую знал лучше (и видел нагой), но ныне она мертва. Не любви он хочет от сеньоры Мартины, а чего-то другого. Он хочет, чтобы она его выслушала и сказала, слышится ли ей в его речи — речи, которую он старательно пытается записать, — правда или же, напротив, это одна сплошная ложь от начала и до конца. А еще он хочет, чтобы она ему сказала, что с собой делать: продолжать кататься на велосипеде по утрам и лежать в постели вечерами, отдыхать, слушать радио и (все чаще) выпивать, а затем засыпать и спать, спать мертвым сном по восемь, девять или даже десять часов, — или же отправиться в мир и заняться чем-нибудь совсем иным.

От преподавателя письма ждать такого — чересчур, это гораздо больше того, за что ей платят. Впрочем, ребенку, взошедшему на борт корабля у далекого берега, ждать, что одинокий мужчина в невзрачных одеждах примет его под крыло и направит его стопы в неведомых землях, — тоже чересчур.

Его соученики — с которыми он пока обменялся не более чем кивками — один за другим выходят из класса.

— Садитесь, Симон, — говорит сеньора Мартина. Он усаживается напротив нее. — Это чересчур, я не готова иметь с этим дело, — говорит она. Смотрит на него спокойно.

— Это всего лишь проза, — говорит он. — Вы не можете иметь дело с прозой?

— Это призыв, — говорит она. — Вы ко мне взываете. У меня по утрам работа, а по вечерам я учу, плюс муж и ребенок — и дом, о котором нужно заботиться. Это чересчур. — Она поднимает листки с его заданием на ладони, словно взвешивая его. — Чересчур, — повторяет она.

— Иногда нас призывают, когда менее всего этого ждем, — говорит он.

— Я понимаю, о чем вы, — говорит она, — но для меня это чересчур.

Он забирает из ее рук три страницы и складывает их в сумку.

— До свиданья, — говорит он. — И еще раз спасибо.

Теперь могут случиться две вещи. Первая: не случится ничего. Вторая: сеньора Мартина передумает, отыщет его комнату, где он будет лежать на кровати весь вечер и слушать радио, и скажет: «Ну что ж, Симон, просветите меня: расскажите все, о чем собирались». Он дает ей на это три дня.

Три дня проходят. Сеньора Мартина в дверь к нему не стучит. Очевидно, происходит первое: ничего.

Его комната, покрашенная очень давно в унылый яично-желтый колер, так и не стала ему домом. Пожилая пара, у которой он ее снимает,

держится отстраненно, за что он ей признателен, однако бывают ночи, когда через хлипкие стены он слышит мужчину, с ним что-то не так, он все кашляет и кашляет.

Он слоняется по коридорам Института. Посещает короткий курс по кулинарии, ищет способы разнообразить свою блеклую диету, однако блюда, которые преподаватель объясняет, требуют духовки, а духовки у него нету. Из курса он не извлекает ничего, кроме небольшого набора специй, выданных каждому студенту: тмин, имбирь, корица, куркума, красный перец, черный перец.

Заглядывает на курс астрологии. Обсуждение касается Сфер: размещаются ли звезды на Сферах или же, напротив, следуют своим траекториям, а также конечны или бесконечны Сферы по количеству. Лекторша считает, что число Сфер конечно — конечно, однако неизвестно и непостижимо, как она выражается.

— Если количество Сфер конечно, что тогда за их пределами? — спрашивает студент.

— Нет «за их пределами» ничего, — отвечает лекторша. Студент выглядит растерянным. — «За их пределами» нет ничего, — повторяет она.

Сферы ему не интересны — не интересны даже звезды, которые, с его точки зрения, — комки бесчувственной материи, движущиеся сквозь пустое пространство, подчиняясь законам таинственного происхождения. Ему интересно знать, что общего у звезд с числами, что общего у чисел с музыкой и как такой образованный человек,

как Хуан Себастьян Арройо, может толковать о звездах, числах и музыке разом. Но лекторша никакого интереса ни к числам, ни к музыке не выказывает. Ее предмет — сочетания, образуемые звездами, и как эти сочетания влияют на человеческую судьбу.

«Нет за их пределами ничего». Как эта женщина может быть так в себе уверена? Его мнение таково: есть там что-то за пределами или нет, человек утонул бы в отчаянии, если б не цеплялся за образ запределья.

Глава 16

Инес получает приглашение от сестер: есть срочное дело, пусть она и Симон появятся на ферме.

Их встречают чаем и свежеиспеченным шоколадным тортом. Давид с подачи сестер жадно поглощает два громадных ломтя.

— Давид, — говорит Альма, когда тот доедает угощение, — у меня есть кое-что для тебя, интересное — семейство марионеток; Роберта нашла их на чердаке, мы в них играли, когда были юными. Ты знаешь, что такое марионетка? Да? Хочешь посмотреть?

Альма провожает мальчика из комнаты; можно приступить к делу.

— Нас навестил сеньор Арройо, — говорит Валентина. — Привез с собой милых своих сыновей. Хотел узнать, не поможем ли мы ему поставить Академию обратно на ноги. Из-за тех трагических событий от него ушло много учеников, но он надеется, что, если Академия вскоре вновь откроется, некоторые вернуться. Что скажете, Инес, Симон? У вас есть прямой опыт взаимодействия с Академией.

— Позвольте мне начать, — говорит он, Симон. — Сеньору Арройо вольно объявлять открытие Академии, но кто будет в ней преподавать?

И кто будет все организовывать? Сеньора Арройо все это бремя брала на себя. Где в Эстрелле найдет он человека, который займет ее место, такого, кто разделяет его взгляды, его философию?

— Он говорит, что собирается помогать его свояченица, — отвечает Валентина. — А еще он очень лестно отзывается о человеке по имени Алеша. Он считает, что Алеша сможет взять на себя часть работы. Но, по сути, Академия станет музыкальной, а не танцевальной, и учить будет сам сеньор Арройо.

Теперь заговаривает Инес и сразу берет быка за рога:

— Когда мы отправили Давида к Арройо, нам пообещали — пообещали, подчеркиваю, — что, помимо танцев, его научат читать, писать и обращаться с числами, как учат детей в нормальных школах. Ничего этого ему не дали. Сеньор Арройо — милый человек, не сомневаюсь, однако он не настоящий учитель. Я с большой неохотой отпустила бы Давида снова под его опеку.

— Что вы имеете в виду, говоря, что он не настоящий учитель? — спрашивает Валентина.

— Я имею в виду, что он витает в облаках. Я имею в виду, он не знает, что происходит у него под носом.

Сестры обмениваются взглядами. Он, Симон, склоняется к Инес.

— Подходящее ли сейчас время? — бормочет он.

— Да, подходящее, — говорит Инес. — Говорить откровенно — дело всегда подходящее. Мы толкуем о будущем ребенка, ребенка, чье образо-

вание пока было сплошной катастрофой, он все больше и больше отстает. Я очень не настроена подвергать его еще одному эксперименту.

— Ну, на том и порешим, — говорит Консуэло. — Вы — мать Давида, вы имеете право решать, что для него лучше всего. Правильно ли мы понимаем, что вы считаете Академию плохим вложением?

— Да, — отвечает Инес.

— А вы, Симон?

— Да как сказать. — Он поворачивается к Инес. — Если Академия Танца закроется навсегда, Инес, и если Давида не примут в Академию Пения, что скорее всего, и если государственные школы не годятся, что тогда прикажешь с ним делать? Где ему получать образование?

Прежде чем Инес успеваает ответить, Альма возвращается с мальчиком, в руках у него потрепанная фанерная коробка.

— Альма говорит, мне можно их забрать, — объявляет он.

— Это марионетки, — говорит Альма. — Нам они ни к чему, и я подумала, что Давид может за просто их взять.

— Конечно, — говорит Консуэло. — Надеюсь, играть с ними тебе понравится.

Инес не дает сбить себя с толку.

— Где Давид будет получать образование? Я тебе говорила. Мы найдем частного педагога, кого-то с приличествующей квалификацией и настоящим дипломом, такого, у кого нет завиральных фантазий о том, откуда берутся дети или как детский ум

работает, такого, кто сядет с Давидом и пройдет программу нормальной школы и поможет ему обрести почву под ногами, которую он утратил. Вот что, по моему мнению, нам нужно сделать.

— Что скажешь, Давид? — говорит он, Симон. — Найдем тебе частного учителя?

Давид усаживается, коробку кладет себе на колени.

— Я хочу к сеньору Арройо, — говорит он.

— К сеньору Арройо ты хочешь только потому, что можешь помыкать им, как тебе нравится, — говорит Инес.

— Если вы меня отдадите в другую школу, я сбегу.

— Никуда мы тебя не отдадим. Мы найдем учителя, который будет учить тебя на дому.

— Я хочу к сеньору Арройо. Сеньор Арройо знает, кто я. А вы не знаете, кто я.

Инес фыркает от отчаяния. И хотя сердце его к этому не лежит, он, Симон, вызывает огонь на себя.

— Не важно, насколько мы особенные, Давид, есть вещи, которые всем нам необходимо сесть и выучить. Нам необходимо уметь читать — и речь не об одной книге, — иначе мы не будем знать, что делается в мире. Нам необходимо уметь складывать, иначе мы не сможем обращаться с деньгами. Думаю, также Инес имеет в виду — поправь меня, если я не прав, Инес, — что нам всем необходимо приобрести хорошие привычки — самодисциплину и уважение к чужому мнению, например.

— Я знаю, что в мире делается, — говорит мальчик. — Это ты не знаешь, что в мире делается.

— Что же делается в мире, Давид? — спрашивает Альма. — Мы совершенно отрезаны от мира — здесь у нас, на ферме. Расскажешь?

Мальчик откладывает в сторону ящик с марионетками, подходит к Альме, долго что-то шепчет ей на ухо.

— Что он сказал, Альма? — спрашивает Консуэло.

— Кажется, я не могу сказать. Только Давид может.

— Расскажешь нам, Давид? — спрашивает Консуэло.

Мальчик решительно качает головой.

— Тогда на том и порешим, — говорит Консуэло. — Спасибо, Инес, спасибо, Симон, за ваш совет касательно сеньора Арройо и его Академии. Если решите нанять учителя сыну, я уверена, мы сможем помочь с оплатой.

Они собираются уходить, и Консуэло отводит его в сторону.

— Необходимо приструнить мальчика, Симон, — говорит она вполголоса. — Ради его же блага. Вы понимаете, о чем я?

— Понимаю. Поверьте, в нем есть и другая сторона. Он не всегда такой самонадеянный. И у него славное сердце.

— Какое облегчение, — говорит Консуэло. — Теперь вам пора.

Пробиться в Академию — или бывшую Академию — оказывается делом небыстрым. Он звонит в колокольчик, ждет, звонит еще раз, и

еще, и еще, затем принимается стучать — сперва костяшками пальцев, но потом и каблуком ботинка. Наконец он слышит какую-то возню внутри. Ключ поворачивается в замке, дверь открывает Алеша, вид у него растрепанный, будто его только что разбудили, хотя уже давно миновал полдень.

— Добрый день, Алеша, помните меня? Отец Давида. Как вы? Маэстро дома?

— Сеньор Арройо — в музыке. Если хотите его видеть, придется подождать. Вероятно, долго.

Студия, где преподавала Ана Магдалена, пуста. Кедровый пол, который когда-то полировали юные стопы в бальных туфлях, утратил блеск.

— Я подожду, — говорит он. — Мое время не имеет значения. — Он идет за Алешей в трапезную и усаживается за один из длинных столов.

— Чаю? — спрашивает Алеша.

— Не отказался б.

До него долетают тихие фортепианные переливы. Музыка затихает, возобновляется, вновь затихает.

— Говорят, сеньор Арройо хотел бы открыть Академию заново, — говорит он, — и что вы, возможно, тоже будете немного преподавать.

— Я буду преподавать блок-флейту и вести младший танцевальный класс. Таков план. Если мы откроемся заново.

— То есть танцевальные классы все же останутся. Я так понял, что Академия сделается в чистом виде музыкальной. Академией исключительно музыки.

— За музыкой всегда есть танец. Если слушать внимательно, если отдаваться музыке, душа внутри нас начинает танцевать. Это один из краеугольных камней философии сеньора Арройо.

— И вы этой философии верите?

— Да, верю.

— Давид, к сожалению, не вернется. Он хочет, очень хочет, но его мать категорически против. Сам я не знаю, что и думать. С одной стороны, к философии Академии, которую вы разделяете, относиться серьезно я могу лишь с трудом. Надеюсь, вы на меня за это не обижаетесь. В особенности ко всякому астрологическому. С другой стороны, Давид привязался к Арройо, особенно к памяти Аны Магдалены. Глубоко привязался. Он за нее цепляется. Не отпускает.

Алеша улыбается.

— Да, я заметил. Поначалу он ее испытывал. Видели бы вы это — как он испытывает людей, утверждает в них свою волю. Он попытался ей приказывать, но она это терпеть не стала — ни на миг. «Пока ты под моей опекой — будешь делать, как я говорю, — сказала она ему. — И нечего так на меня смотреть. Твои взгляды надо мной силы не имеют». С тех пор он больше никогда эти свои фокусы ей не устраивал. Он ее уважал. Он ей подчинялся. Со мной другое дело. Он знает, что я мягкий. Ну и ладно.

— А одноклассники его? Они тоже по ней скучают?

— Все юные любили Ану Магдалену, — говорит Алеша. — Она с ними была строга, требовательна,

но они ей были привержены. После ее ухода я изо всех сил старался их беречь, но вокруг слишком много всего болтают, и родители, конечно, приехали и забрали их. Поэтому наверняка сказать, насколько сильно их задело, я не могу. Это была трагедия. Вряд ли можно ждать, что дети способны пережить такую трагедию незатронутыми.

— Вряд ли, да. Дело еще и в Дмитрии. Их все это, наверное, потрясло. Дмитрий был у них большим любимцем.

Алеша собирается ответить, но тут дверь в трапезную распахивается, и вбегают возбужденные Хоакин и его брат, а через миг за ними появляется незнакомка — седовласая женщина, опирающаяся на клюку.

— Тетя Мерседес говорит, что нам можно печенье, — говорит Хоакин. — Можно?

— Конечно, — говорит Алеша. Неловко представляет их друг другу: — Сеньора Мерседес, это сеньор Симон, отец одного из мальчиков из Академии. Сеньор Симон, это сеньора Мерседес, из Новиллы, навещает нас.

Сеньора Мерседес, тетя Мерседес, протягивает ему костлявую руку. В ее тонких орлиных чертах и землистом цвете лица он не усматривает никакого сходства с Аной Магдаленой.

— Мы не будем вам мешать, — говорит она голосом столь низким, что едва ли не каркает. — Мальчики лишь заглянули перекусить.

— Вы нам совсем не мешаете, — отвечает он, Симон. Это неправда. Он хотел бы еще послушать Алешу. Этот молодой человек производит на него

немалое впечатление, в хорошем смысле слова, — своей серьезностью. — Я тут прохлаждаюсь, жду встречи с сеньором Арройо. Алеша, вы, может, скажете ему, что я его жду?

Сеньора Мерседес со вздохом опускается на стул.

— Ваш сын не с вами? — спрашивает она.

— Он дома со своей матерью.

— Его зовут Давид, — говорит Хоакин. — Он лучший в классе. — Они с братом уселись на дальнем конце стола, перед ними — банка печенья.

— Я пришел обсудить с сеньором Арройо будущее моего сына, — объясняет он Мерседес. — Его будущее и будущее Академии, после недавней трагедии. Позвольте сказать, насколько сильно нас всех потрясла смерть вашей сестры. Она была исключительным педагогом и исключительным человеком.

— Ана Магдалена не сестрой мне была, — говорит Мерседес, — моя сестра, мать Хоакина и Дамиана, умерла десять лет назад. Ана Магдалена... была... второй женой Хуана Себастьяна. Арройо — сложная семья. К счастью, я в этой сложности не участвую.

Разумеется! Дважды женат! Какая глупая ошибка с его стороны!

— Приношу извинения, — говорит он. — Сказал, не подумав.

— Но, конечно, я знала ее, Ану Магдалену, — невозмутимо продолжает сеньора Мерседес. — Она недолгое время даже была моей ученицей. Так она познакомилась с Хуаном Себастьяном. Так она вошла в нашу семью.

Его глупая ошибка, похоже, открыла врата старым неприязням.

— Вы учили танцу? — говорит он.

— Я учила танцу. И учу до сих пор, хотя вы бы такого не подумали, глядя на меня. — Она постукивает по полу клюкой.

— Признаюсь, по мне, танец — своего рода иностранный язык, — говорит он. — Давид уже устал мне объяснять.

— Тогда зачем, скажите на милость, отправлять его в Академию Танца?

— Давид сам себе хозяин. Мы с его матерью не имеем над ним власти. У него приятный голос, но петь он отказывается. Он одаренный танцор, но для меня не танцует. Нет — и всё. Говорит, я не пойму.

— Если бы вашему сыну пришлось объяснить танец, он бы не смог дальше танцевать, — говорит Мерседес. — Таков парадокс, ловушка для нас, танцоров.

— Поверьте, сеньора, вы не первая, кто мне это говорит. И от сеньора Арройо, и от Аны Магдалены, и от сына я постоянно выслушиваю, до чего тупоумные вопросы я задаю.

Мерседес отпускает смешок, низкий, надсадный, как лай собаки.

— Вам нужно научиться танцевать, Симон, — можно называть вас Симоном? Это излечит вас от тупоумия. Или прекратите спрашивать.

— Боюсь, я неизлечим, Мерседес. По чести сказать, я не вижу вопроса, на который ответ — танец.

— Ясно, что не видите. Но вы же хоть раз бывали влюблены. Когда были влюблены, разве не видели вы, на какой вопрос любовь — ответ? Или вы и любовником были тупоумным?

Он молчит.

— Вы случайно не были влюблены в Ану Магдалену, хоть чуть-чуть? — настаивает она. — Такое воздействие она, судя по всему, производила на большинство мужчины. А вы, Алеша, — как у вас? Влюбились ли и вы в Ану Магдалену?

Алеша заливается краской, но не отвечает.

— Я спрашиваю всерьез: каков был вопрос, на который Ана Магдалена столь часто была ответом?

Честный вопрос, он это понимает. Мерседес — серьезная женщина, серьезный человек. Но можно ли обсуждать такие вопросы в присутствии детей?

— Я не был влюблен в Ану Магдалену, — говорит он. — Я не был влюблен вообще, сколько себя помню. Однако, если подходить абстрактно, я признаю силу вашего вопроса. Чего именно нам не хватает, когда хватает всего, когда мы самостоятельны? Чего нам недостает, когда мы не влюблены?

— Дмитрий был в нее влюблен, — подает голос Хоакин — чистый, еще не сломавшийся детский голос.

— Дмитрий — человек, убивший Ану Магдалену, — поясняет он, Симон.

— Я знаю о Дмитриии. Во всей стране вряд ли найдется человек, не наслышанный об этой исто-

рии. Отверженный в любви, Дмитрий ополчился на недостижимый предмет своего желания и убил ее. Разумеется, он сотворил ужасное. Ужасное, однако понять его нетрудно.

— Не согласен, — говорит он, Симон. — Я с самого начала считал его действия непостижимыми. Непостижимыми сочли их и его судьи. Поэтому и заперли его в психиатрической больнице. Потому что ни одно вменяемое существо не сделало бы того, что сделал он.

«Дмитрий не был отверженным любовником». Этого он как раз сказать не может — во всяком случае, в открытую. И вот это как раз непостижимо по-настоящему — более чем непостижимо. «Он убил ее, потому что захотелось. Он убил ее, чтобы посмотреть, каково это — удавить женщину. Он убил ее без всякой причины».

— Я не понимаю Дмитрия — и не хочу, — продолжает он. — Что с ним происходит, мне безразлично. Пусть мается в психиатрическом отделении, пока не постареет и не поседеет, пусть сошлют его в соляные копи, чтобы он там уработался до смерти, — все едино.

Мерседес и Алеша переглядываются.

— У вас тут явно больное место, — говорит Мерседес. — Простите, что задела его.

— Может, прогуляемся? — говорит Алеша мальчикам. — Сходим в парк. Возьмите с собой хлеб — покормим золотых рыбок.

Они удаляются. Он и Мерседес остаются одни. Но у него нет настроения разговаривать, у нее явно тоже. Через открытые двери слышно, как

играет Арройо. Он закрывает глаза, старается успокоиться, позволить музыке пробиться к нему. Возвращаются слова Алеши: «Если слушать внимательно, душа внутри начинает танцевать». Когда последний раз танцевала его душа?

Судя по тому, что музыка то затихает, то возобновляется, он решает, что Арройо репетирует. Но ошибается. Паузы длятся слишком долго, а музыка словно теряется по пути. Человек не упражняется — он сочиняет. Он, Симон, прислушивается теперь со вниманием другого рода.

Для толстокожего человека вроде него музыка слишком разнообразна по ритму, слишком сложна в своей логике, и он не понимает ее, однако она ему напоминает танец эдакой маленькой птички, что парит и ныряет, бия крыльями так часто, что их и не видно. Вопрос же вот в чем: где душа? Когда душа покажется из своего укрытия и распахнет крылья?

С душой он не на «ты». Про душу он знает — читал, — что она упархивает, когда сталкивается с зеркалом, и потому ее не может видеть тот, кто ею владеет, тот, кем владеет она.

Не в силах увидеть свою душу, он не подвергал сомнению то, какой ее видят люди: что душа у него сухая, обделенная страстью. К своему собственному смутному чутью — что вовсе не чуждая страсти его душа страдает по чему-то, о чем не ведает, — он относится скептически, как к некой байке, какую некто с сухой, рациональной, ущербной душой рассказывает себе, чтобы сохранить самоуважение.

Он пытается не думать, не делать ничего, что могло бы спугнуть робкую душу внутри. Он отдается музыке, позволяет ей войти и омыть его. И музыка, словно зная, что происходит, перестает спотыкаться, начинает течь. И на самом краю сознания душа, которая действительно подобна птичке, появляется, встряхивает крыльями и принимается танцевать.

За этим Алеша его и застаёт: он сидит за столом, подбородок упёрт в ладони, крепко спит. Алеша трясёт его.

— Сеньор Арройо готов вас принять.

От женщины с клюкой, свояченицы Мерседес, ни следа. Сколько же он отсутствовал?

Он бредёт за Алешей по коридору.

Глава 17

Комната, куда его приводят, приятно озарена и просторна, через стеклянные вставки в крыше льется солнечный свет. В ней пусто, если не считать стола с горой бумаг на нем и рояля. Арройо встает ему навстречу.

Он ожидал, что увидит человека в трауре, сломленного человека. Но Арройо, облаченный в сливово-фиолетовый халат поверх пижамы, в тапочках, смотрится крепким и жизнерадостным, как обычно. Он предлагает ему, Симону, сигарету, от которой тот отказывается.

— Рад вас вновь видеть, сеньор Симон, — говорит Арройо. — Я не забыл наш разговор на берегах озера Кальдерон, касательно звезд. Что обсудим нынче?

После музыки и дремы язык у него, Симона, медлен, ум затуманен.

— Моего сына Давида, — говорит он. — Я пришел поговорить о нем. О его будущем. Давид последнее время немного отбился от рук. Из-за отсутствия образования. Мы подали заявление в Академию Пения, однако надежд у нас немного. Мы о нем тревожимся, особенно его мать. Она подумывает нанять частного преподавателя. Но

тут мы услышали, что вы, возможно, вновь откроете двери. И мы задумались...

— Вы задумались, если мы вновь откроемся, кто будет преподавать. Вы задумались, кто займет место моей жены. Действительно, кто? Ваш сын был с ней очень близок, знаете ли. Кто сможет ее заменить в его сердце?

— Вы правы. Он все еще держится за память о ней. Не отпускает. Но есть и еще кое-что. — Туман начинает отступать. — Давид вас очень чтит, сеньор Арройо. Он говорит, что вы знаете, кто он есть. «Сеньор Арройо знает, кто я есть». Я же, напротив, — по его словам, — не знаю и никогда не узнаю. Не могу не спросить: что он имеет в виду, когда говорит, что вы знаете, кто он есть?

— Вы отец и при этом не знаете, кто он?

— Я не настоящий его отец — и никогда на это не притязал. Я считаю себя своего рода отчимом. Я познакомился с ним на корабле, по пути сюда. Я видел, что он потерялся, и потому взял его под опеку, стал о нем заботиться. Позднее я смог соединить его с матерью, Инес. Такова вкратце наша история.

— И теперь вы хотите, чтобы я сказал вам, кто он есть, этот ребенок, с которым вы познакомились на корабле. Будь я философом, я бы ответил так: все зависит от того, что вы подразумеваете под «кто», это зависит от того, что вы подразумеваете под «он», это зависит от того, что вы подразумеваете под «есть». Кто он есть? Кто есть вы? А я? С уверенностью могу сказать лишь одно: однажды некое существо, дитя мужского пола, появляется

из ниоткуда на пороге Академии. Вы знаете это не хуже меня, вы его привели сами. С того дня я имел удовольствие быть ему аккомпаниатором. Я аккомпанировал его танцам, как аккомпанирую всем детям в моем ведении. И я много с ним разговаривал. Мы много разговаривали — ваш Давид и я. Это было поучительно.

— Мы договорились называть его Давидом, сеньор Арройо, однако его настоящее имя, если можно так выразиться, если это что-то значит, — конечно же, не Давид, как вы наверняка знаете, раз вы знаете, кто он на самом деле есть. Давид — просто имя на его карточке, имя, которое ему дали в порту. В той же мере можно сказать, что Симон — не настоящее мое имя, а просто имя, данное мне в порту. Для меня имена не важны, из-за них не стоит суетиться. Я отдаю себе отчет, что вы занимаете другую позицию, что, когда речь заходит об именах и числах, мы с вами оказываемся в разных школах мысли. Но позвольте мне договорить. В моей школе мысли имена — лишь для удобства, в той же мере и числа — для удобства. Ничего таинственного в них нет. К мальчику, о котором мы толкуем, могло быть за просто пришпилено имя «шестьдесят шесть», а ко мне — «девяносто девять». Шестьдесят шесть и девяносто девять могли бы вполне сгодиться — как «Давид» и «Симон», — дело в привычке. Я никогда не мог понять, почему для мальчика, которого я зову Давидом, имена столь значимы — в особенности его имя. Наши так называемые истинные имена, имена, которые были у нас до «Давида» и

«Симона», — всего лишь заменители, как мне кажется, имен, которые были у нас еще раньше, и так далее, все дальше. Все равно что листать книгу, назад, назад, отыскивая первую страницу. Но первой страницы нет. У книги нет начала — или же начало утеряно в дымке всеобщего забвения. По крайней мере, я так думаю. Итак, повторю вопрос: что имеет в виду Давид, говоря, что вы знаете, «кто он есть»?

— Будь я философом, сеньор Симон, я бы ответил так: все зависит от того, что вы подразумеваете под «знаю». Знал ли я мальчика в предыдущей жизни? Как я могу быть в этом уверен? Память утрачена, как вы говорите, в дымке всеобщего забвения. У меня есть наития, как есть они, без сомнения, и у вас, но наития — не воспоминания. Вы помните, как встретились с мальчиком на борту корабля, решили, что он потерялся, и взяли его под крыло. Вероятно, он помнит это событие иначе. Вероятно, это вы потерялись, вероятно, это он решил взять под крыло *вас*.

— Вы неверно обо мне судите. У меня, возможно, есть воспоминания, а вот наитий нет. Наития не входят в мой инвентарь.

— Наития — как падающие звезды. Они проскакивают по небесам за мгновение, и в следующий миг их уже нет. Если вы их не видите, возможно, у вас просто закрыты глаза.

— Но *что* проскакивает по небесам? Если у вас есть ответ — может, поделитесь?

Сеньор Арройо расплющивает сигарету до смерти.

— Все зависит от того, что вы подразумеваете под «ответом», — говорит он. Встает, берет Симона за плечи, вглядывается ему в глаза. — Смелее, мой друг, — говорит он, дыша дымом. — Юный Давид — исключительный ребенок. Я зову его *целостным*. Он целостен так, как не целостны другие дети. Ничто у него не отнять. Ничего не прибавить. Кем или чем бы вы или я его ни считали, это не имеет значения. Тем не менее, я серьезно отношусь к вашему желанию получить ответ на вопрос. Ответ придет, когда вы менее всего этого ожидаете. Или же не придет. Такое тоже бывает.

Он раздраженно отрясает эти объятия.

— Передать вам не могу, сеньор Арройо, — говорит он, — до чего я не люблю эти дешевые парадоксы и мистификации. Не поймите меня превратно. Я уважаю вас и уважаю вашу покойную супругу. Вы — просветители, вы к своей профессии относитесь серьезно, ваша забота об учениках искренна, и ни в чем из этого я не сомневаюсь. Но касательно вашей системы, *el sistema Arroyo*, у меня есть глубочайшие сомнения. Говорю это при полном почтении к вам как к музыканту. Мистические откровения. Юные умы это, возможно, впечатляет, однако прошу вас мне их не навязывать.

По пути наружу он, озабоченный и в дурном настроении, натывается на свояченицу Арройо, чуть не сшибает ее с ног. Клюка, громыхая, летит вниз по лестнице. Он возвращает ей клюку, приносит извинения за свою неуклюжесть.

— Не извиняйтесь, — говорит она. — На лестнице нужен свет, я не понимаю, почему в здании

должно быть так темно и угрюмо. Но раз уж вы тут, дайте мне руку. Мне нужны сигареты, а мальчиков я за ними посылать не хочу, это скверный для них пример.

Он помогает ей добраться до киоска на углу. Она ходит медленно, но он не торопится. Стоит приятный день. Он начинает расслабляться.

— Желаете чашку кофе? — предлагает он.

Они усаживаются в уличном кафе, наслаждаются солнцем.

— Надеюсь, вас мои замечания не задели, — говорит она. — В смысле, замечания об Ане Магдалене и ее воздействии на мужчин. Ана Магдалена была не мой тип, но, по правде сказать, я к ней относилась нежно. И смерть, какая ей досталась, — никто не заслуживает так умереть.

Он молчит.

— Как я уже говорила, я учила ее, когда она была молода. Многообещающая была ученица, много работала, серьезно настраивалась на карьеру. Но ее переход из девичества в женскую зрелость оказался для нее трудным. Для танцоров это всегда трудное время, а в ее случае — особенно. Она хотела сохранить чистоту черт, чистоту, которая дается нам так легко, пока мы незрелы, но ей не удавалось: новая женственность ее тела все время себя являла наружу, выражала себя вовне. В конце концов она сдалась, занялась всяким другим. Я утратила с ней связь. А потом, после смерти моей сестры, она внезапно возникла вновь — рядом с Хуаном Себастьяном. Я удивилась — понятия не имела, что они общаются, — но ничего не сказала.

Она была с ним хороша, скажу я, — хорошей была женой. Он без такой, как она, потерялся бы. Она занялась его детьми — младший тогда был еще младенцем — и стала им матерью. Она вытаскала Хуана Себастьяна из часовщиков, где у него не было никакого будущего, и обустроила для него эту Академию. Он здесь расцвел. Так что не поймите меня неверно. Она была во многом воспитательным человеком.

Он молчит.

— Хуан Себастьян — человек ученый. Вы читали его книгу? Нет? Он написал книгу о своей философии музыки. Она еще есть в книжных магазинах. Моя сестра ему помогла. У моей сестры было музыкальное образование. Она была великолепной пианисткой. Они с Хуаном Себастьяном когда-то играли дуэтом. А она же Магдалена, хоть и была совершенно образованной девушкой, — ни музыкант, ни, сказала бы я, интеллектуалка. Нехватку ума она восполняла пылом. Она приняла философию Хуана Себастьяна всю целиком и стала ее поборницей. Она применила ее к танцевальным занятиям. Одному богу известно, что малышня в этом понимает. Позвольте спросить, Симон: что ваш сын разобрал в учении Аны Магдалены?

Что Давид разобрал в учении Аны Магдалены? Он уже готов дать ответ, взвешенный ответ, но тут на него что-то находит. То ли нахлынула память о его сердитом всплеске перед Арройо, то ли он просто устал, устал быть разумным, — этого он сказать не может, но чувствует, что лицо его сморщивается, а голос, выбирающийся из горла,

он сам едва узнает, до того тот надтреснутый и пересохший.

— Мой сын, Мерседес, — тот, кто нашел Ану Магдалену. Он был на ее смертном одре. Его воспоминания о ней отравлены этим видением, этим кошмаром. Поскольку она была мертва, понимаете, уже сколько-то. Такую картину созерцать нельзя ни одному ребенку.

Мой сын — отвечая на ваш вопрос — пытается цепляться за память об Ане Магдалене, какой она была при жизни, и к историям, которые от нее слышал. Он хотел бы верить в небесное царство, где вечно танцуют числа. Он хотел бы думать, что, когда он танцует танцы, которым она его обучила, числа нисходят и танцуют с ним вместе. В конце любого школьного дня Ана Магдалена собирала вокруг себя детей, и они пели под то, что она именовала аркой, — я позднее узнал, что это просто камертон, — она велела им закрывать глаза и вместе мычать в унисон с этим звуком. Это успокаивает их души, говорила им она, приводит их в гармонию со звуком, который испускают звезды, вращаясь вокруг своих осей. Так вот за это мой сын и желает держаться: за небесный звук. Включаясь в танец звезд, он желает верить, что мы участвуем в их небесном бытии. Но как он может, Мерседес, *как может он* — после всего, что видел?

Мерседес тянется через стол, поглаживает его по руке.

— Полно, полно, — говорит она. — Вам выпало время испытаний, всем вам. Вероятно, будет лучше, если ваш сын оставит Академию позади,

со всеми скверными воспоминаниями, и пойдет в нормальную школу, к нормальным учителям.

На него накатывает вторая большая волна усталости. Что он делает, обмениваясь словами с этой незнакомкой, которая ничего не понимает?

— Мой сын — не нормальный ребенок, — говорит он. — Простите, мне нехорошо, я более не могу оставаться. — Он подает знак официанту.

— Вы расстроены, Симон. Я вас не задержу. Позвольте лишь сказать: я здесь, в Эстрелле, не ради моего зятя, который с трудом меня выносит, а ради детей моей сестры, ради двух маленьких мальчиков, о которых никто не задумывается. Ваш сын станет жить дальше, а у них какое будущее? Потеряли сначала одну мать, потом мачеху и теперь брошены в этом трудном мире мужчин и мужских идей. Я скорблю о них, Симон. Им нужна мягкость — всем детям она нужна, даже мальчикам. Их нужно нежить и лелеять, чтобы вдыхали они мягкие запахи женщин и чувствовали мягкость женского касания. Откуда они их возьмут? Они вырастут ущербными, не способными цвести.

Мягкость. Мерседес едва ли кажется ему мягкой — острый нос-клюв, костлявые артритные руки. Он расплачивается, встает.

— Мне пора, — говорит он. — Завтра у Давида день рождения. Ему исполнится семь. Нужно подготовиться.

Глава 18

Инес решительно настроена как следует отпраздновать день рождения мальчика. На праздник приглашены все его одноклассники из старой Академии, кого она смогла найти, а также мальчики из квартала, с кем он играл в футбол. В *pastelería* она заказывает пирог в виде футбольного мяча, приносит домой весело раскрашенную *piñata* в виде ослика, у подруги Клаудии занимает лопатки, которыми дети будут колошматить ее в ключья, нанимает фокусника, чтобы показывал чудеса. Ему, Симону, про свой подарок она не рассказывает, но он знает, что она потратила на него кучу денег.

Первый его порыв — сравняться с Инес в щедрости, но он этот порыв пресекает: он, Симон, — второстепенный родитель, и его подарок должен быть второстепенным. На задворках антикварного магазина он отыскивает как раз то, что нужно: модель корабля, очень похожего на тот, на котором они прибыли, с дымовой трубой, винтом и капитанским мостиком — и с крошечными пассажирами, вырезанными из дерева, льнущими к леерам и гуляющими по верхней палубе.

Осматривая магазины в старом квартале Эстреллы, он ищет книгу, упомянутую Мерседес, — книгу Арройо о музыке. Найти не удастся. Никто из книготорговцев о ней не слыхивал.

— Я бывал на нескольких выступлениях, — говорит один, — он поразительный пианист, настоящий виртуоз. Я понятия не имел, что он и книги пишет. Вы уверены?

По договоренности с Инес мальчик проводит ночь перед торжеством с ним, в его съемной комнате, чтобы она успела приготовить квартиру.

— Последний вечер ты у нас маленький мальчик, — сообщает он мальчику. — С завтрашнего дня будешь семилетним, а семилетний мальчик — уже большой.

— Семь — благородное число, — говорит мальчик. — Я знаю все благородные числа. Хочешь, все перечислю?

— Не сегодня, спасибо. Какие еще ветви нумерологии ты изучил, помимо благородных чисел? Дроби изучал? Или дроби — это уже слишком? Ты разве не знаешь понятие «нумерология»? Нумерология — наука, которую преподает сеньор Арройо у себя в Академии. Нумерологи — люди, которые верят, что числа существуют независимо от нас. Они верят, что даже если случится великий потоп и утопит все живое, числа выживут.

— Если потоп будет взаправду большой, до неба, числа тоже утонут. И тогда ничего не останется, только темные звезды и темные числа.

— Темные звезды? Что это?

— Звезды, которые между яркими звездами. Их не видно, потому что они темные.

— Темные звезды, видимо, — одно из твоих открытий. О темных звездах и темных числах в нумерологии, насколько я ее понимаю, ничего не сказано. Более того, согласно нумерологам, числа утонуть не могут, как бы высоко воды потопа ни поднялись. Они не могут утонуть, потому что они не дышат, не едят и не пьют. Они просто существуют. Мы, люди, приходим и уходим, мы странствуем от одной жизни к другой, а числа остаются, какими были, всегда. Вот что пишут люди, вроде сеньора Арройо, в своих книгах.

— Я нашел способ, как вернуться из следующей жизни. Хочешь расскажу? Это великолепно. Привязываешь веревку к дереву, длинную-предлинную веревку, а когда попадаешь в следующую жизнь, привязываешь другой конец веревки к дереву — к другому дереву. И когда хочешь вернуться из следующей жизни — просто держись за веревку. Как человек в *labyrinth*.

— *Laberinto*. Очень умный план, очень находчивый. К сожалению, я вижу в нем изъян. Изъян таков: пока ты плывешь обратно в эту жизнь, держась за веревку, волны догонят и вымоют из тебя все воспоминания. И поэтому, когда ты достигнешь этого берега, ничего, что видел на другой стороне, не вспомнишь. Будто и не навещал ту сторону вовсе. Словно спал без сновидений.

— Почему?

— Потому что, как я уже сказал, ты погрузишься в воды забвения.

— Ну почему? Почему я должен забыть?

— Потому что такое правило. Нельзя вернуться обратно из следующей жизни и рассказать, что ты там видел.

— Почему это такое правило?

— Правило есть правило, и все. Правила не обязаны себя оправдывать. Они просто есть. Как числа. Для чисел нет никаких «почему». Эта Вселенная — вселенная правил. Для Вселенной нет «почему».

— Почему?

— А теперь ты дурачишься.

Позднее, когда Давид уже уснул на диване, а сам он лежит в постели и слушает, как где-то в потолке хлопчет мышь, он размышляет о том, как мальчик будет оглядываться на эти их разговоры. Он, Симон, видит себя здравомыслящим, разумным человеком, который предлагает мальчику здравые, разумные пояснения, почему все устроено так, как оно устроено. Но лучше ли нужды детской души утолятся сухими мелкими нотациями, чем фантазиями, которые скармливает Академия? Почему бы не позволить ему посвятить эти драгоценные годы танцам с числами и беседам со звездами в обществе Алеши и сеньора Арройо и подождать, пока здравомыслие и разум появятся сами собою, когда надо?

Веревка между землями: нужно рассказать об этом Арройо, послать ему записку. «Мой сын, тот, который говорит, что вы знаете его настоящее имя, предложил план нашего всеобщего спасения: веревочный мост между берегами, души,

влекущие себя, перебирая руками, через океан, кто-то — к новой жизни, кто-то — назад, в прежнюю. Существовай такой мост, говорит мой сын, это означало бы конец забывчивости. Мы бы все знали, кто мы есть, и радовались».

Надо и впрямь написать Арройо. Не просто записку, а что-нибудь подлиннее, поплотнее, где будет сказано то, что мог бы сказать, не выскочи он в раздражении с их встречи. Не будь он таким сонным, таким вялым, он бы включил свет и занялся этим. «Достопочтенный Хуан Себастьян, простите мне мою сегодняшнюю вздорность. Я сейчас переживаю трудную пору, хотя, конечно, бремя, которое несу я, куда легче вашего. Если точнее, меня штормит (здесь я обращаюсь к расхожей метафоре), и я все дальше уплываю от твердой почвы. Почему же? Позвольте быть откровенным. Вопреки предельному усилию ума, я не способен поверить в числа, в высшие числа, числа в вышине, как способны, похоже, вы — и все, кто связан с вашей Академией, в том числе и мой сын Давид. Я ничего не понимаю в числах, ни йоты, ни капельки, от начала и до конца. Ваша вера в них помогла вам (полагаю) пережить эти трудные времена, тогда как я, тот, кто вашу веру не разделяет, обидчив, раздражителен, склонен к вспышкам гнева (вы были сегодня утром свидетелем одной такой) — вообще говоря, я делаюсь почти невыносим, и не только для тех, кто со мной рядом, но и для себя самого.

«Ответ придет к вам, когда вы менее всего этого ожидаете. Или не придет». Мне претят пара-

доксы, Хуан Себастьян, а вам, судя по всему, нет. Мне это необходимо сделать, чтобы обрести покой ума, — глотать парадоксы по мере их возникновения? А раз уж вы к этому склонны, помогите мне понять, почему ребенок, воспитанный вами, когда его просят объяснить числа, отвечает, что их нельзя объяснить, их можно только станцевать. Тот же ребенок, до того как начал посещать вашу Академию, боялся ступить с одной плитки в мостовой на другую — из страха провалиться в пропасть и исчезнуть в ничто. А теперь же он скачет через эти пропасти, нимало не тревожась. *Какие магические силы есть в танце?»*

Надо так и сделать. Надо написать такую записку. Но станет ли Хуан Себастьян отвечать? Хуан Себастьян не кажется ему тем человеком, кто выберется из постели посреди ночи, чтобы кинуть веревку человеку, который пусть и не тонет, но уж точно барахтается.

Когда он уже нисходит в сон, ему является образ футбола в парке: мальчик, набычившись, сжав кулаки, бежит и бежит, как неостановимая сила. Почему, почему, почему, когда он столь полон жизни — этой жизни, настоящей жизни — он так увлечен следующей?

Первые гости на празднике — двое мальчиков из квартиры под ними, братья, им неловко в опрятных рубашках и шортах, с прилизанными волосами. Они спешат вручить свой красочно обернутый подарок, Давид кладет его в угол, который очистил специально для подарков.

— Это моя куча подарков, — объявляет он. — Я не буду открывать подарки, пока все не разойдутся.

В куче подарков уже имеются марионетки, подаренные сестрами с фермы, и его, Симона, подарок — корабль, упакованный в картонную коробку и перевязанный лентой.

Звонят в дверь; Давид спешит встречать новых гостей и принимать новые подарки.

Поскольку Диего взялся обносить всех напитками, ему, Симону, делать мало что остается. Он подозревает, что большинство гостей считает Диего отцом мальчика, а его самого — дедушкой или еще более дальним родственником.

Праздник идет хорошо, хотя горстка детей из Академии побаивается более бойких соседских и держится кучкой, перешептывается между собой. Инес — волосы прилежно завиты, облачена в элегантное черно-белое платье, во всех отношениях мать, которой мальчику легко гордиться, — похоже, нравится, как все складывается.

— Красивое платье, — отмечает он. — Тебе идет.

— Спасибо, — говорит она. — Время нести именинный торт. Принесешь?

Значит, это его привилегия — принести на стол исполинский футбольный торт, уложенный на поле из зеленого марципана, и благодушно улыбаться, когда Давид одним «фух» задувает все семь свечек.

— Bravo! — говорит Инес. — Теперь загадай желание.

— Я уже загадал, — говорит мальчик. — Это тайна. Никому не скажу.

— Даже мне? — говорит Диего. — Даже на ухо? — Доверительно склоняет голову.

— Нет, — говорит мальчик.

С разрезанием торта загвоздка: нож погружается в торт, шоколадная оболочка трескается, и торт распадается на две неравные части, одна скатывается с разделочной доски и разваливается на кусочки на столе, сшибив стакан лимонада.

С торжествующим воплем Давид размахивает ножом над головой:

— Землетрясение!

Инес поспешно убирает беспорядок.

— Осторожнее с ножом, — говорит она. — Поранишь кого-нибудь.

— Это мой день рождения, делаю что хочу.

Звонит телефон. Это фокусник. Он опаздывает, будет минут через сорок пять или через час. Инес шваркает трубкой в ярости.

— Кто так ведет дела! — кричит она.

В квартире слишком много детей. Диего скрутил из надувного шарика человечка с огромными ушами, мальчики принимаются гоняться за ним. Они носятся по всем комнатам, сшибая мебель. Встает Боливар и появляется из своего логова в кухне. Дети встревоженно отшатываются. Ему, Симону, достается держать пса за ошейник.

— Его зовут Боливар, — объявляет Давид. — Он не кусается, он кусает только плохих людей.

— Можно его погладить? — спрашивает одна из девочек.

— Боливар сейчас не в дружеском настроении, — отвечает он, Симон. — Он привык после обеда спать. Очень уж он привержен своим привычкам. — И он уводит Боливара в кухню.

К счастью, Диего уговаривает мальчиков побойчее, в том числе и Давида, пойти в парк — сыграть в футбол. Они с Инес остаются дома, развлекать более робких. Погода возвращаются футболисты и бросаются лопать остатки торта и печенья.

Стук в дверь. Явился фокусник — конфузливый на вид маленький человечек с румяными щеками, в цилиндре и фраке, с плетеной корзиной. Инес не дает ему и рта раскрыть.

— Поздно! — кричит она. — Что это за манера так обращаться с заказчиками? Идите! От нас вы ни гроша не получите!

Гости расходятся. Вооруженный ножницами, Давид принимается распечатывать подарки. Разворачивает подарок от Инес и Диего.

— Это гитара! — говорит он.

— Это укулеле, — говорит Диего. — Там и брошюра есть, как на ней играть.

Мальчик ударяет по струнам, звучит резкий аккорд.

— Ее сначала настроить надо, — говорит Диего. — Давай покажу как.

— Не сейчас, — говорит мальчик. Открывает его, Симона, подарок. — Отлично! — вопит он. — Можно взять его в парк и запустить?

— Это модель, — отвечает он. — Не уверен, что он может плавать и не тонуть. Попробуем в ванне.

Наполняют ванну. Корабль бодро плавает по поверхности, тонуть не собирается совсем.

— Отлично! — повторяет мальчик. — Лучший подарок.

— Когда научишься играть, укулеле будет лучшим подарком, — говорит он, Симон. — Укулеле — не модель, это настоящая вещь, настоящий музыкальный инструмент. Ты сказал Инес и Диего «спасибо»?

— Хуан Пабло говорит, что Академия — школа для слюнтяев. Говорит, что в Академию одни слюнтяи ходят.

Он знает, кто такой Хуан Пабло, — один из соседских мальчиков, старше и крупнее Давида.

— Хуан Пабло никогда и через порог Академии не переступал. Он понятия не имеет, что там происходит. Будь ты слюнтяем, дал бы тебе Боливар помыкать собой — Боливар, который в следующей жизни будет волком?

Инес ловит его в дверях, когда он уже собирается уходить, сует ему в руки какие-то бумаги.

— Это письмо из Академии и вчерашняя газета, страницы «Предлагается обучение». Нужно решать, кто будет Давиду преподавать. Я отметила предпочтительных. Ждать больше нельзя.

Письмо, адресованное им с Инес, не из Академии Арройо, а из Академии Пения. В связи с исключительно высоким уровнем заявок на ближайшую четверть, уведомляют их, для Давида места, к сожалению, не найдется. Их благодарят за проявленный интерес.

С письмом в руке он на следующий день вновь приходит в Академию Танца.

Угрюмо усаживается в трапезной.

— Скажите сеньору Арройо, что я пришел, — наказывает он Алеше. — Скажите, что не уйду, пока не поговорю с ним.

Через несколько минут появляется сам хозяин.

— Сеньор Симон! Вы вернулись!

— Да, вернулся. Вы занятой человек, сеньор Арройо, и потому я буду краток. В прошлый раз я упомянул, что мы подали заявку Давида в Академию Пеня. Эту заявку отклонили. Нам предстоит выбирать между государственной школой и частным обучением. Я кое-что утаил от вас, а вам следует быть в курсе. Когда мы с моей партнершей, Инес, покинули Новиллу и прибыли в Эстреллу, мы бежали от закона. Не потому, что мы плохие люди, а потому, что власти в Новилле хотели забрать у нас Давида — на основании, в которое я не буду вдаваться, — и поместить его в учреждение. Мы воспротивились. Таким образом, мы, говоря строго, — правонарушители, мы с Инес... Мы привезли Давида сюда и нашли ему прибежище у вас в Академии — временное прибежище, как выяснилось. Перехожу к сути. Если мы сдадим Давида в государственную школу, есть все основания подозревать, что его опознают и отправят обратно в Новиллу. Значит, государственных школ мы избегаем. Перепись населения, которая случится менее чем через месяц, — дополнительная сложность. Нам придется скрыть от переписчиков любые следы Давида.

— Я своих сыновей тоже буду прятать. Давида можно скрыть вместе с ними. В этом здании навалом темных углов.

— А вам зачем своих сыновей прятать?

— Они в прошлой переписи не участвовали, а значит, у них нет номеров, следовательно, они не существуют. Они — призраки. Но продолжайте. Вы говорили, что собираетесь избегать государственных школ.

— Да. Инес склоняется к частному преподаванию для Давида. Мы однажды поставили эксперимент с частным преподавателем. Безуспешно. У мальчика своенравный характер. Он привык, чтобы все было по его. Ему нужно стать более общественным животным. Ему нужно быть в классе с другими детьми, под наставнической рукой учителя, которого он уважает... Я отдаю себе отчет, что вы ограничены в средствах, сеньор Арройо. Если вы действительно собираетесь открыть Академию заново и если Давиду можно вернуться, я предлагаю вам свою помощь, безвозмездно. Я могу выполнять работу уборщика — подметать, мыть, носить дрова и так далее. Могу помогать с пансионерами. Физического труда не чужаюсь. В Новилле я работал портовым грузчиком... Давиду я, может, и не отец, но по-прежнему его опекун и защитник. К сожалению, он, похоже, теряет ко мне уважение, какое питал прежде. Отчасти так проявляется его нынешняя неуправляемость. Он насмехается надо мной как над стариком, который всюду за ним таскается, грозя пальцем и воспитывая. Но вас он чтит, сеньор Арройо, — вас и вашу покойную жену... Если вы вновь откроете двери, ваши давнишние ученики вернуться к вам, не сомневаюсь. Давид — первым. Я не де-

лаю вид, что понимаю вашу философию, но под вашим крылом мальчику хорошо, это я вижу. Что скажете?

Сеньор Арройо слушает его со всем вниманием, не перебивает ни разу. Теперь говорит он:

— Сеньор Симон, поскольку вы со мной откровенны, буду откровенен и я. Вы утверждаете, что ваш сын над вами насмехается. Это на самом деле неправда. Он любит вас и восхищается вами, пусть даже и не всегда вас слушается. Он говорил мне с гордостью, как, в вашу бытность грузчиком, вы таскали самые тяжелые грузы, тяжелее тех, что брали на себя ваши более юные товарищи. Против вас он имеет одно: вы поступаете, как его отец, а сами не знаете, кто он есть. Вы об этом осведомлены. Мы это уже обсуждали.

— Он это не просто имеет против меня, сеньор Арройо, — он швыряет мне это в лицо.

— Он швыряет это вам в лицо, и вы огорчаетесь, немудрено. Позвольте перефразировать то, что я сказал вам при нашей последней встрече, и, вероятно, предложить вам некоторое утешение.

У нас — у каждого из нас — есть опыт прибытия к новым землям и получения новой личности. Мы живем, каждый из нас, под именем, которое не наше. Но вскоре привыкаем к ней — к этой новой, придуманной жизни.

Ваш сын — исключение. Он с необычайной остротой ощущает подложность своей новой жизни. Он еще не поддался натиску забвения. Что именно он помнит, я сказать не могу, но, среди прочего, то, что считает своим настоящим

именем. Каково же оно? Опять-таки не могу сказать. Он отказывается его открыть — или неспособен открыть его, не знаю, как на самом деле. Вероятно, оно и к лучшему в целом, что его тайна останется тайной. Какая разница, как вы давеча сказали, известен он нам под именем Давид или Томас, шестьдесят шесть или девяносто девять, Альфа или Омега? Содрогнется ли Земля под нашими стопами, откройся нам его истинное имя, посыплются ли звезды с небес? Разумеется, нет.

А посему утешьтесь. Вы не первый отвергнутый отец — и не последний.

Теперь — о другом. Вы предлагаете свои добровольные услуги Академии. Спасибо вам. Я склонен принять это предложение, с благодарностью. Сестра моей покойной жены тоже любезно предложила помощь. Она — не знаю, говорила ли вам, — выдающийся преподаватель, хоть и в другой школе. Мое желание открыть школу заново встретило поддержку и в других местах. Все это укрепляет меня в вере, что наши текущие трудности мы преодолеть сможем. Однако, чтобы все решить, дайте мне чуть больше времени.

На этом беседа завершается. Он уходит. «Наши текущие трудности» — от фразы остается гадкий привкус. Представляет ли Арройо вообще, какие у него трудности? Сколько еще он будет защищен от правды об Ане Магдалене? Чем дольше Дмитрий остается в больнице, убивая время, тем вероятнее он начнет похвастаться перед своими дружками ледяной женой маэстро, которая отлип-

нуть от него не могла. История распространится, как лесной пожар. Люди будут хихикать у Арройо за спиной, из трагической фигуры он делается посмешищем. Он, Симон, обязан был как-то предупредить его, чтобы, если шепотки начнутся, Арройо был к ним готов.

А письма, порочащие письма! Нужно было сжечь их давным-давно. *Te quiero apasionadamente.* В тысячный раз он клянет себя за то, что влез в дела Дмитрия.

Глава 19

Вот так, досадуя, он приходит домой и обнаруживает, что у него под дверью развалился не кто иной, как Дмитрий, облаченный в форму больницы санитаря, насквозь промокший — на улице опять льет, — однако с широченной улыбкой.

— Привет, Симон. Жуткая погода, верно? Позвольте войти?

— Нет, не позволю. Как вы сюда попали? Давид с вами?

— Давид ничего об этом не знает. Я прибыл сам по себе: сел в автобус, потом прошел пешком. Никто на меня даже не покосился. Бр-р! Холодно. Чего бы не отдал за чашку горячего чаю!

— Зачем вы здесь, Дмитрий?

Дмитрий хихикает.

— Вот так сюрприз, а? Видели бы вы свое лицо. *Пособничество* — я вижу, как это слово мелькает у вас в голове. Пособничество преступнику. Не волнуйтесь. Я скоро уйду. Вы меня больше не увидите — не в этой жизни. Ну же, впустите меня.

Он, Симон, отпирает дверь. Дмитрий входит, стаскивает с кровати покрывало, обертывается им.

— Так-то лучше! — говорит он. — Хотите знать, зачем я здесь? Я вам скажу, слушайте внимательно-

но. Когда придет рассвет, через несколько кратких часов, я двину на север, к соляным копиям. Таково мое решение, окончательное решение. Сдамся на соляные копи, и кто знает, что там со мною станется. Люди всегда говорят: «Дмитрий, ты как медведь, ничто тебя не убьет». Ну, может, когда-то так оно и было, но уже нет. Плети, цепи, хлеб с водой — кто знает, сколько я протяну, прежде чем паду на колени и скажу: «Довольно! Избавьтесь от меня! Оделите меня *coup de grâce!*»

Есть лишь два человека с умом в этом невежественном городе: Симон, вы да сеньор Арройо, и Арройо не обсуждается, непристойно это — я убийца его жены и так далее. Остаетесь вы. С вами я все еще могу толковать. Знаю, вы думаете, я слишком много разговариваю, и вы по-своему правы — я бываю несколько зануден. Но взгляните на это с моей точки зрения. Если не буду говорить, не буду объясняться, кто я тогда? Вол. Никто. Может, психопат. Может. Но уж точно — ничто, нуль, без своего места в мире. Не понимаете, да? Скупой на слова — вы. Каждое слово проверено и взвешено, прежде чем вы отправляете его вовне. Ну, всяко бывает.

Я любил ту женщину, Симон. В тот миг, когда узрел ее впервые, я понял, что она — моя звезда, моя судьба. В моем бытии возникла брешь — брешь, какую лишь она могла заполнить. Если по правде, я в нее, в Ану Магдалену, до сих пор влюблен, хоть она и похоронена в землю или же сожжена в прах, никто мне теперь не расскажет. «И что с того? — скажете вы. — Люди влюбля-

ются ежедневно». Но не так, как был влюблен я. Я был ее недостойн, такова простая правда. Понимаете? Можете вы понять, каково это — быть с женщиной, быть с ней в полнейшем из всех смыслов, скажу я деликатно, когда забываешь, где ты, когда время замирает, когда это такое вот бытие-вместе, восторженного рода, когда ты в ней, а она — в тебе, — быть с ней так и при этом сознавать на задворках ума, что со всем этим что-то не так, не нравственно не так — с нравственностью я никогда особо не ладил, всегда был типом независимым, нравственно независимым, — а не так в космологическом смысле, словно планеты в небесах у нас над головами встали неправильно и говорили нам «нет, нет, нет»? Вы понимаете? Нет, конечно, нет, и кто вас за это обвинит. Я объясняюсь скверно.

Как уже сказал, я был ее недостойн, Аны Магдалены. Вот к чему все в конце концов сводится. Мне никогда не следовало там быть — никогда не делить с нею ложе. То был проступок — перед звездами, перед тем или иным, не знаю. Такое у меня было чувство — смутное чувство, чувство, которое не желало меня покидать. Понимаете? Хоть что-то брезжит?

— Мне совершенно не любопытны ваши чувства, Дмитрий, ни прошлые, ни настоящие. Ничего этого вы мне говорить не обязаны. Я вашему желанию высказываться не потакаю.

— Конечно, вы не потакаете! Никто не смог бы выказать больше уважения моему праву на частную жизнь. Вы порядочный малый, Симон, ред-

кой разновидности по-настоящему порядочных людей. Но я не хочу частной жизни! Я хочу быть человеком, а быть человеком означает быть говорящим животным. Поэтому я вам и выкладываю все это: чтобы снова быть человеком, слышать человеческий голос, исторгаемый из этой вот груди моей, груди Дмитрия! И уж если вам не могу все это сказать, кому тогда скажу я? Кто остался? Так вот дайте мне сказать: мы занимались этим — занимались любовью, мы с ней, где только могли, когда только выдавался свободный час или даже минута, или две, или три. Я же могу откровенно об этом, верно? Потому что от вас у меня нет секретов, Симон, — с тех пор как вы прочли письма, которые вам не полагалось читать.

Ана Магдалена. Вы ее видели, Симон, и вы должны согласиться: она была красавицей, настоящей красавицей, безупречной с головы до пят. Мне бы гордиться тем, что такая красавица была у меня в объятиях, но я не гордился. Нет, я стыдился. Потому что она заслуживает лучшего, лучшего, чем этот уродливый, волосатый, невежественный никто — я. Думаю о холодных руках ее, холодных, как мрамор, как они обнимали меня, тянули меня в нее — *меня! меня!* — и качаю головой. Есть в этом что-то неправильное, Симон, нечто глубоко неправильное. Красавица и чудовище. Вот почему я использовал слово «космологически». Какая-то ошибка среди звезд или планет, какая-то неразбериха.

Вы не желаете мне потакать, и я это ценю, правда. Это с вашей стороны уважительно. И все

же вы наверняка размышляете и о стороне Аны Магдалены в этой истории. Потому что если я, несомненно, был ее недостойн, что она делала в постели со мной? Ответ, Симон, таков: *я воистину не ведаю*. Что она видела во мне, имея мужа в тысячу раз достойнее, мужа, который любил ее и любовь свою доказал — по крайней мере, она так говорила?

Не сомневаюсь, вам в голову приходит слово «аппетит»: у Аны Магдалены явно был аппетит на то, что я ей предлагал. Но нет! Все аппетиты были мои. С ее стороны — сплошь изящество и милость, словно богиня снизошла облагодетельствовать смертного человека, дав ему отведать вкус бессмертного существа. Я должен был преклоняться перед нею — и я преклонялся, вправду преклонялся, до того рокового дня, когда все пошло скверно. Поэтому я отправляюсь на соляные копи, Симон: из-за своей неблагодарности. Это ужасный грех — неблагодарность, возможно — худший из всех. Откуда взялась она, неблагодарность моя? Кто знает. Сердце человека — лес темный, как говорится. Я благодарен был Ане Магдалене, пока — *бум!* — не стал неблагодарным, раз — и всё.

И почему? Почему я сделал с ней последнее, что можно, — предельное? Бьюсь головою — *почему, дубина, почему, почему?* — но нет мне ответа. Потому что я жалею об этом, тут без сомнения. Если б мог я вернуть ее, где б ни была она сейчас, из ямы в земле или развеянную, как прах над волнами, я бы тут же сделал это. Я бы

ползал пред нею. «Тысяча сожалений, мой ангел, — говорил бы я (так я звал ее иногда — мой ангел), — я никогда больше так не сделаю». Но сожаления не действуют, правда? Сожаления, раскаяния. Стрела времени — не обратишь ее. Назад пути нет.

Эти, в больнице, всего такого не понимают. Красота, милость, благодарность — для них это закрытая книга. Они пялятся мне в голову со своими лампочками, микроскопами и телескопами, ищут, где провод закоротило или где тумблер включен, а должен быть выключен. «Поломка не в голове у меня, а в душе!» — говорю я им, но они, конечно, внимания на меня не обращают. Или таблетки дают. «Проглотите, — говорят он, — посмотрим, починит это вас или нет». — «Таблетки на меня не действуют, — говорю я им, — поможет только плеть! Плетей мне!»

На меня подействует только плеть, Симон, плеть и соляные копи. Вот и вся недолга. Спасибо, что выслушали. Отныне, даю слово, уста мои будут запечатаны. Никогда больше священное имя Аны Магдалены не слетит с них. Год за годом буду трудиться в молчании, добывать соль для добрых людей земли, пока не наступит день, когда больше не смогу. Сердце мое, верное сердце старого медведя, сдастся. И я испущу последний вздох, и благословенная Ана Магдалена снизойдет, прохладная, прекрасная, как всегда, и наложит перст мне на уста. «Идем, Дмитрий, — скажет она, — со мною в следующую жизнь, где прошлое забыто и прощено». Вот так я себе это вижу.

На словах «забыто и прощено» голос у Дмитрия прерывается. Глаза блестят слезами. Вопреки себе самому он, Симон, тронут. Дмитрий берет себя в руки.

— Теперь к делу, — говорит он. — Можно мне остаться на ночь? Можно поспать здесь и собраться с силами? Потому что завтра будет долгий и трудный день.

— Если обещаете, что утром исчезнете, и поклянетесь, что я больше никогда вас не увижу, никогда-никогда, — да, можете здесь переночевать.

— Клянусь! Никогда! Головой матери клянусь! Спасибо, Симон. Вы — прямо что надо. Кто бы мог подумать, что вы, самый правильный, законопослушный человек в городе, скатитесь до пособничества преступнику. И еще одна просьба об одолжении. Вы мне не дадите одежду? Я бы предложил вам продать ее мне, но у меня нет денег, в больнице у меня все забрали.

— Я дам вам одежду, я дам вам денег, я дам что угодно, лишь бы от вас избавиться.

— Ваша щедрость пристыжает меня. Правда. Я с вами скверно обошелся, Симон. Я за вашей спиной зубоскалил. Вы не знали, да?

— Много кто зубоскалит на мой счет. Я привык. Ко мне не липнет.

— Вы знаете, что Ана Магдалена о вас говорила? Говорила, что вы строите из себя почтенного гражданина и человека разумного, а на самом деле вы просто заблудшее дитя. Такие ее слова были: дитя, которое не ведает, где живет и чего хочет. Проницательная женщина, а? А ты, гово-

рила она, то есть я, Дмитрий, — уж ты-то знаешь, чего хочешь, хотя бы это про тебя можно сказать. И это правда! Я всегда знал, чего хотел, и за это она меня любила. Женщины любят мужчину, который знает, чего хочет, который не ходит вокруг да около... Последнее, Симон. Может, поесть дадите, чтобы укрепить меня перед грядущим странствием?

— Берите что хотите в буфете. Я пойду прогуляюсь. Мне нужен свежий воздух. Вернусь не скоро.

Он возвращается через час, Дмитрий уже спит у него на кровати. Ночью его, Симона, будит храп. Он встает с дивана, трясет Дмитрия.

— Вы храпите, — говорит он. Дмитрий с тяжким усилием переворачивается на другой бок. Через минуту храп возобновляется.

Следом он уже слышит, как на деревьях зачирикали птицы. Ужасно холодно. Дмитрий беспокойно топчется по комнате.

— Мне пора, — шепчет он. — Вы что-то говорили про деньги и одежду.

Он встает, включает свет, достает рубашку и брюки для Дмитрия. Они одного роста, но Дмитрий шире в плечах, у него мощнее грудь, талия толще: рубашка на нем едва сходится. Он выдает Дмитрию сто реалов из своего кошелька.

— Возьмите мое пальто, — говорит он. — Оно за дверью.

— Я беспредельно благодарен, — говорит Дмитрий. — А теперь мне пора отчаливать навстречу судьбе. Попрощайтесь за меня с вашим юнцом.

Если кто придет разнюхивать, скажите, что я сел в поезд до Новиллы. — Умолкает на миг. — Симон, я сказал вам, что ушел из больницы сам. Это не вполне правда. На самом деле это попросту враки. Мне помог ваш мальчик. Как? Я ему позвонил. «Дмитрий вопиет о свободе, — сказал я. — Поможешь?» Через час он уже был там и вывел меня наружу, как и в первый раз. Все шито-крыто. Никто нас не заметил. Жуть берет. Словно я невидимый. Вот и все. Я думал, лучше скажу, чтобы между нами все было чисто.

Глава 20

Клаудия и Инес планируют в «Модас Модернас» событие — показ для продвижения новых весенних моделей. «Модас Модернас» никогда показов не устраивал, и пока женщины заняты отбором швей, наймом моделей и заказом рекламы, Диего поручено присматривать за мальчиком. Но Диего не до этого. Он обзавелся в Эстрелле новыми друзьями и почти все время проводит с ними. Иногда остается на всю ночь, возвращается с рассветом, спит до полудня.

— Я не нянька, — говорит он. — Хочешь няньку — найми.

Все это Давид докладывает ему, Симону. Одному в квартире скучно, и он едет с Симоном на работу. Вместе у них получается хорошо. Силам мальчика, похоже, нет предела. Он носитя от дома к дому, запикивает в почтовые ящики листовки, открывающие новый мир чудес: в нем не только кольца для ключей, которые светятся в темноте, и «Чудо-пояс», растворяющий жир, пока вы спите, а также «Электропёс», который лает, когда бы ни звонил дверной звонок, но и сеньора Виктрикс, астральные консультации, строго по записи; Бренди, модель, демонстри-

рующая нижнее белье, тоже строго по записи; а также Клоун Ферди, гарантирующий воплотить в жизнь вашу ближайшую вечеринку; не говоря уже о кулинарных занятиях, занятиях медитацией, занятиях по управлению гневом и двух пиццах по цене одной.

— Что это значит, Симон? — спрашивает мальчик, протягивая ему листовку, отпечатанную на дешевой бурой бумаге.

«Человек есть мерщик всех вещей¹, — гласит листовка. — Лекция выдающегося ученого доктора Хавьера Морено. Институт дальнейшего образования, цикл по четвергам, 20.00. Вход бесплатный, пожертвования приветствуются».

— Не могу точно сказать. Видимо, землемерное что-то. Землемер — человек, который делит землю на участки, которые потом можно покупать и продавать. Тебе вряд ли будет интересно.

— А это? — спрашивает мальчик.

— «Уоки-токи». Дурацкое название телефона без провода. Носишь с собой и можешь разговаривать с друзьями на расстоянии.

— Можно мне такой?

— Их продают парами, один тебе, второй — другу. Девятнадцать реалов девяносто пять. За игрушку это дорого.

— Тут говорится: «Спеши Спеши Спеши Пока Есть На Складе».

¹ Парафраз афоризма древнегреческого философа-софиста Протагора (ок. 485 до н. э. — ок. 410 до н. э.).

— Не обращай внимания. Уоки-токи на белом свете не кончатся, уж поверь мне.

У мальчика полно вопросов о Дмитриии.

— Как думаешь, он уже на соляных копиях? Они правда его там будут сечь? Когда мы к нему поедем?

Он отвечает как можно честнее — с поправкой на то, что сам про соляные копи знает.

— Уверен, что заключенные не целыми днями добывают соль, — говорит он. — У них есть время отдыха, когда им можно играть в футбол или читать книги. Дмитрий нам напишет, когда устроится, расскажет о своей новой жизни. Нужно просто потерпеть.

Труднее отвечать на вопросы о преступлении, за которое Дмитрий подался на соляные копи, и вопросы эти возникают вновь и вновь:

— Когда он остановил Ане Магдалене сердце, это больно было? Почему она посинела? Я тоже посиною, когда умру? — И самый трудный: — Зачем он ее убил? Зачем, Симон?

Уклоняться от вопросов мальчика он не хочет. Без ответа они, чего доброго, нагнойтся. И потому он придумывает, как может, простейшую, самую сносную историю.

— На несколько минут Дмитрий сошел с ума, — говорит он. — Так бывает с некоторыми людьми. Что-то у них в голове ломается. Дмитрий сошел с ума и в этом безумии убил человека, которого любил больше всех. Вскоре он пришел в себя. Безумие ушло, и он переполнился сожалением. Он отчаянно попытался вернуть

Ану Магдалену к жизни, только не знал, как. И он решил поступить достойно. Он признался в преступлении и попросил, чтобы его наказали. И теперь он отправился на соляные копи отдавать долг — долг перед Аной Магдаленой, сеньором Арройо и всеми мальчиками и девочками в Академии, которые потеряли учительницу, которую так любили. Всякий раз, когда мы солим еду, можем напоминать себе, что так мы помогаем Дмитрию отдавать долг. И однажды в будущем, когда долг будет выплачен сполна, он сможет вернуться с соляных копей, и мы снова будем вместе.

— Но не с Аной Магдаленой.

— Нет, не с Аной Магдаленой. Чтобы ее повидать, придется ждать следующей жизни.

— Врачи хотели приделать Дмитрию новую голову, которая не сумасшедшая.

— Верно. Они хотели сделать всё, чтобы он больше не сходил с ума. К сожалению, замена головы у человека требует времени. А Дмитрий спешил. Он уехал из больницы прежде, чем врачи успели вылечить ему старую голову или приделать новую. Он торопился выплатить долг. Он считал, что выплатить долг важнее, чем вылечить голову.

— Но он же снова может сойти с ума, да? Если у него все еще старая голова.

— С ума Дмитрия свела любовь. В соляных копиях женщин, в которых можно влюбиться, не будет. И поэтому вероятность, что Дмитрий сойдет с ума, очень маленькая.

— Ты не сойдешь с ума, Симон, да?

— Нет, не сойду. У меня не такого сорта голова — которая с ума сходит. У тебя тоже. Тут нам повезло.

— Но у Дон Кихота была другая. У него был сорт головы, которая сходит с ума.

— Верно. Но Дон Кихот и Дмитрий — очень разные виды людей. Дон Кихот был хорошим человеком, и его безумие вело его к добрым делам — к спасению девиц от драконов, например. Дон Кихот — хороший пример в жизни. А Дмитрий — нет. У Дмитрия ничему хорошему не научишься.

— Почему?

— Потому что, даже и помимо безумия в голове, Дмитрий — не хороший человек, не с хорошим сердцем. Сначала он кажется дружелюбным и щедрым, но это лишь видимость, чтобы обмануть. Ты слышал, как он говорил, что позыв убить Ану Магдалену пришел невесть откуда. Это неправда. Не из ниоткуда он пришел. Он пришел из его сердца, где давно таился — и ждал, чтоб напасть, как змея... Ничего ни ты, ни я не можем сделать, Давид, чтобы помочь Дмитрию. Покуда не глянет себе в сердце и не сразится с тем, что там увидит, он не изменится. Он говорит, что хочет быть спасенным, но спасенным можно стать, только спаси себя, а Дмитрий слишком ленив, слишком самодоволен для этого. Понимаешь?

— А муравьи? — говорит мальчик. — У муравьев тоже плохие сердца?

— Муравьи — насекомые. У них нет крови, а значит, нет сердец.

— А медведи?

— Медведи — животные, и сердца их поэтому ни хороши, ни плохи, это просто сердца. Почему ты спрашиваешь о муравьях и медведях?

— Может, врачам надо взять сердце медведя и сунуть его в Дмитрия.

— Интересная мысль. К сожалению, врачи пока не придумали, как засовывать в людей медвежьих сердца. Пока не придумают, Дмитрию придется нести ответственность за свои действия.

Мальчик смотрит на него так, что не истолкуешь: веселится? насмехается?

— Чего ты на меня так смотришь? — спрашивает он, Симон.

— Потому что, — говорит мальчик.

День подходит к концу. Он возвращает мальчика Инес и отправляется домой, где на него нисходит ненавистный ему туман. Он наливает себе стакан вина, а затем и второй. Спасенным можно стать, только спаси себя. Дитя обращается к нему за наставлением, а он предлагает ему лишь выхолощенную шуструю чепуху. Полагаться на себя. Полагайся он, Симон, лишь на себя, какая была бы у него надежда на спасение? Спасение от чего? От безделья, от бесцельности, от пули в голову.

Он достает из шкафа коробочку, открывает конверт, смотрит на девочку с котом на руках, на девочку, которая два десятка лет спустя выберет этот свой образ в подарок возлюбленному. Он перечитывает ее письма, от начала и до конца.

Хоакин и Дамиан подружились с двумя девочками из пансиона. Мы сегодня позвали их с собой на пляж. Вода была ледяная, но они все залезли в нее — и хоть бы что, похоже. Мы были счастливой семьей среди множества других счастливых семей, но по правде же меня там толком не было. Я отсутствовала. Я была с тобой — как я с тобой у себя в сердце каждую минуту каждого дня. Хуан Себастьян это чувствует. Я делаю все, что могу, чтобы он ощущал себя любимым, но он осознает, что между нами нечто изменилось. Мой Дмитрий, как я тоскую по тебе, как трепещу, о тебе думая! Целых десять дней! Пройдет ли когда-нибудь это время?..

Лежу без сна в ночи, думая о тебе, нетерпеливо жду, когда минует время, жажду быть нагой в твоих объятьях...

Веришь ли ты в телепатию? Я стояла на скале, смотрела в море, сосредоточив всю свою энергию на тебе, и пришел миг, клянусь, когда я услышала твой голос. Ты произнес мое имя, и я ответила. Это случилось вчера, во вторник, примерно в десять утра. У тебя тоже так было? Ты меня слышал? Можем ли мы разговаривать на расстоянии? Скажи мне, что так и есть!..

Я тоскую по тебе, мой любимый, тоскую apasionadamente! Всего два дня еще!

Он складывает письма, убирает их обратно в конверт. Ему хотелось бы верить, что это подделки, авторства Дмитрия, но это неправда. Они —

то, что есть: слова влюбленной женщины. Он продолжает настраивать ребенка против Дмитрия. Если хочешь пример для подражания, смотри на меня, говорит он: смотри на Симона, образцового отчима, человека разумного, зануду; или, если не на меня, тогда на безобидного старика-безумца Дон Кихота. Но если ребенок действительно желает учиться, кто может научить лучше, чем человек, способный вызывать столь неподобающую, столь непостижимую любовь?

Глава 21

Инес извлекает из сумочки помятое письмо.

— Надо было показать тебе, но я забыла, — говорит она.

Письмо адресовано сеньору Симону и сеньоре Инес, написано на бланке Академии Танца, герб Академии перечеркнут ручкой, подписано Хуаном Себастьяном Арройо: их приглашают на прием в честь именитого философа Хавьера Морено Гутьерреса, который состоится в Музее изящных искусств. «Следуйте по указателям до входа с *Calle Hugo*, поднимайтесь на второй этаж». Будут поданы легкие закуски.

— Это сегодня вечером, — говорит Инес. — Я не могу, занята. А кроме того, еще и вся эта история с переписью. Когда мы планировали показ, я начисто забыла о ней, а когда вспомнила, уже было поздно — объявления уже появились. Показ начнется завтра в три пополудни, а к шести все торговые заведения должны быть закрыты, сотрудники распущены по домам. Я не знаю, как мы управимся. Сходи ты на прием. Давида с собой возьми.

— Что такое «прием»? Что такое «история с переписью»? — требует ответов мальчик.

— Перепись — это подсчет, — объясняет он, Симон. — Завтра вечером придут считать всех людей в Эстрелле и составлять список их имен. Мы с Инес решили тебя от переписчиков спрятать. Ты будешь не один такой. Сеньор Арройо своих сыновей тоже спрячет.

— Зачем?

— Зачем? По разным причинам. Сеньор Арройо считает, что, если приделывать к людям номера, они превращаются в муравьев. Мы хотим, чтобы тебя в официальных списках не было. А прием — это такой праздник для взрослых. Можешь пойти со мной. Там будет съестное. Если станет скучно, сможешь пойти повидать Алешин зверинец. Ты давно его не навещал.

— А если меня посчитают в переписи, меня признают?

— Может. А может, и нет. Мы не хотим рисковать.

— Ты навсегда меня спрячешь?

— Конечно, нет — только на время переписи. Мы не хотим давать им повод утащить тебя в ту ужасную школу, в Пунта-Аренас. Когда перева-лишь за школьный возраст, сможешь расслабиться и быть себе хозяином.

— И бороду мне можно будет, да?

— И бороду можно, и имя сменить — очень много чего можно будет, чтобы тебя не признали.

— Но я хочу, чтобы меня признали!

— Нет, ты не хочешь, чтобы тебя признали, — пока, не нужен тебе этот риск. Давид, я не думаю, что ты понимаешь, что означает «признать» или

«быть признанным». Но давай не будем об этом спорить. Когда вырастешь — сможешь быть кем захочешь, делать что хочешь. А пока мы с Инес хотели бы, чтобы ты делал, что тебе говорят.

Они с мальчиком на прием приходят с опозданием. Он удивлен, сколько собралось гостей. У именитого философа и почетного гостя, похоже, немало последователей.

Они здороваются с тремя сестрами.

— Мы слушали речь мэтра Морено во время его прошлого визита, — говорит Консуэло. — Когда это было, Валентина?

— Два года назад, — говорит Валентина.

— Два года назад, — говорит Консуэло. — Такой интересный человек. Добрый вечер, Давид, не поцелуешь ли нас?

Мальчик послушно целует каждую сестру в щеку.

К ним присоединяется Арройо в сопровождении свояченицы Мерседес, облаченной в серое шелковое платье с ярко-пурпурной мантильей, а также самого мэтра Морено — низкорослого, коренастого человечка с вьющимися локонами, рыхлой кожей и широким тонкогубым ртом, как у лягушки.

— Хавьер, вы знаете сеньору Консуэло и ее сестер, а вот сеньору Симону позвольте вас представить. Сеньор Симон — состоявшийся философ. А также отец блистательного юноши по имени Давид.

— Давид — это не настоящее мое имя, — говорит мальчик.

— Давид — не настоящее его имя, следовало было мне упомянуть, — говорит сеньор Арройо, — но под этим именем он пребывает среди нас. Симон, насколько я понимаю, с моей свояченицей Мерседес из Новиллы вы уже знакомы.

Он кланяется Мерседес, та в ответ улыбается ему. Со времени их последней беседы черты ее смягчились. Красивая женщина — по-своему, свирепа. Он размышляет, как выглядела ее сестра — та, которая умерла.

— Что привело вас в Эстреллу, сеньор Морено? — спрашивает он, поддерживая беседу.

— Я много странствую, сеньор. Моя профессия делает из меня передвижника, бродягу. Я читаю лекции по всей стране, в разных институтах. Но, по правде сказать, в Эстреллу я прибыл повидать старого друга — Хуана Себастьяна. У нас с ним долгая совместная история. В былые дни у нас было общее часовое дело. А еще мы играли в квартете.

— Хавьер — первоклассный скрипач, — говорит Арройо. — Первоклассный.

Морено пожимает плечами.

— Возможно, однако все равно любитель. Как я уже сообщил, мы вдвоем вели дело, но потом Хуан Себастьян усомнился в нем, и потому, короче говоря, мы закрылись. Он создал Академию Танца, а я пошел своим путем. Однако мы не теряем связи. У нас есть несогласия, но, говоря в общем, мир мы воспринимаем одинаково. Будь оно иначе, как бы смогли вместе проработать столько лет?

Тут до него доходит.

— А, так вы, должно быть, тот сеньор Морено, который читал лекцию о землемерном деле! Мы с Давидом видели объявление.

— О землемерном деле? — говорит Морено.

— О топографических замерах.

— «Человек есть мера всех вещей», — говорит Морено. — Так называется лекция, которую я читаю сегодня. Она вовсе не о землемерном деле. Она о Метросе и его интеллектуальном наследии. Я думал, это очевидно.

— Приношу извинения. Это я недопонял. Предвкушаем вашу лекцию. Но «человек-мерщик» в названии лекции точно был — я знаю, потому что распространял эти листовки сам, это мое занятие. Кто такой Метрос?

Морено собирается ответить, но вклинивается пара, нетерпеливо ждущая своей очереди заговорить.

— Мэтр, мы так воодушевлены вашим возвращением! В Эстрелле мы чувствуем себя совершенно отрезанными от истинной жизни ума! Это будет ваше единственное выступление?

Он уходит прочь.

— Почему сеньор Арройо называет тебя философом? — спрашивает мальчик.

— Он шутит. Ты же сам знаешь, как сеньор Арройо общается. Именно потому, что я не философ, он зовет меня философом. Поешь что-нибудь. Вечер будет долгий. После приема еще лекция сеньора Морено. Тебе понравится. Все равно что читать сказку. Сеньор Морено встанет

к трибуне и расскажет нам о человеке по имени Метрос, о котором я никогда не слышал, но, очевидно, это важный человек.

Закуски, обещанные в приглашении, оказываются громадным чайником чая, скорее теплым, чем горячим, и несколькими тарелками твердого мелкого печенья. Мальчик откусывает от одного, строит гримасу, выплевывает.

— Ужасное! — говорит он. Он, Симон, тихо за мальчиком прибирает.

— В печенье слишком много имбиря. — Это Мерседес, бесшумно появившаяся рядом. Ключи как не бывало — Мерседес двигается вроде бы довольно легко. — Но Алеше не говорите. Не надо его расстраивать. Они с мальчиками пекли весь вечер. Так ты, значит, знаменитый Давид! Мальчики мне сказали, что ты хороший танцор.

— Я могу станцевать все числа.

— Наслышана. А какие-нибудь еще танцы, кроме числовых, ты умеешь танцевать? Человеческие танцы знаешь?

— Что такое человеческий танец?

— Ты же человек, так? Можешь станцевать, как люди танцуют, — танец радости или танец грудь к груди с кем-то, кто тебе мил?

— Ана Магдалена нас такому не учила.

— Хочешь, я тебя научу?

— Нет.

— Ну, пока не научишься делать то, что делают люди, полностью человеком не станешь. Чего еще ты не делаешь? У тебя есть друзья, с кем можно играть?

— Я играю в футбол.

— Ты занимаешься спортом, а во что еще ты играешь? Хоакин говорит, что ты никогда ни с кем в школе не разговариваешь, а только отдаешь приказы и говоришь всем, что кому делать. Это правда?

Мальчик молчит.

— Да, вести с тобой человеческую беседу не просто, юный Давид. Поищу-ка я кого-нибудь еще, с кем потолковать. — С чашкой в руке она уходит.

— Может, пойдешь поздороваться со зверями? — предлагает он Давиду. — Возьми с собой Алешины печенья. Может, кролики их поедят.

Он пробивается в кружок вокруг Морено.

— О Метросе как о человеке нам ничего не известно, — говорит Морено, — и ненамного больше известно нам о его философии, поскольку от него не осталось письменных свидетельств. Тем не менее влияние его на современный мир велико. По крайней мере, таково мое мнение. Согласно одной из легенд, Метрос сказал, что во вселенной нет ничего неизмеримого. Согласно другой, он сказал, что абсолютного измерения быть не может — что измерение всегда относительно измеряющего. Философы до сих пор спорят, совместимы ли эти два утверждения.

— А вы какого мнения? — спрашивает Валентина.

— Я — и вашим, и нашим, что и попытаюсь объяснить сегодня на лекции. После чего мой друг Хуан Себастьян получит возможность ответить.

Мы запланировали эту встречу как дискуссию — подумали, что так будет живее. Хуан Себастьян в прошлом критиковал мой интерес к Метросу. Он критически относится к мерности вообще, к самой мысли, что все во Вселенной можно измерить.

— Что все во Вселенной должно быть измерено, — говорит Арройо. — Есть разница.

— Что все во Вселенной должно быть измерено — спасибо, что поправил меня. Вот почему мой друг решил уйти из часового дела. Что есть часы, в конце концов, если не механизм, навязывающий метрон потоку времени?

— Метрон? — говорит Валентина. — Что это?

— Метрон назван в честь Метроса. Любая единица измерения есть метрон: грамм, к примеру, или метр, или минута. Без метрона невозможны были бы естественные науки. Возьмем, к примеру, астрономию. Мы говорим, что астрономия занимается звездами, а это не совсем так. На самом деле она занимается метронами звезд: их массой, расстоянием друг от друга и так далее. Сами звезды мы в математические уравнения уложить не можем, зато способны производить математические операции с их метронами и так открывать законы Вселенной.

Давид появляется сбоку, тянет его за руку.

— Иди и смотри, Симон!¹ — шепчет он.

— Математические законы Вселенной, — говорит Арройо.

— Математические законы, — говорит Морено.

¹ Иоанн, 1:39.

Для человека с таким непривлекательным внешним видом Морено вещает с примечательной уверенностью в себе.

— Поразительно, — говорит Валентина.

— Иди и смотри, Симон! — шепчет мальчик вновь.

— Одну минутку, — отвечает он шепотом.

— Поразительно и впрямь, — отзывается Консуэло. — Но уже поздно. Нам пора в Институт. Быстрый вопрос, сеньор Арройо: когда вы вновь откроете Академию?

— Дата еще не назначена, — говорит Арройо. — Сказать я могу лишь вот что: пока мы не найдем учителя танцев, Академия будет исключительно музыкальной.

— Я думала, что сеньора Мерседес будет новым учителем танца.

— Увы, нет, у Мерседес есть дела в Новилле, от которых она не может отвлечься. Она навещала Эстреллу, чтобы повидать племянников, моих сыновей, а не чтобы преподавать. Учителя танцев нам еще предстоит найти.

— Учителя танцев вам еще предстоит найти, — говорит Консуэло. — Я ничего не знаю про этого типа, Дмитрия, помимо прочитанного в газетах, но — простите мне эти слова — надеюсь, что в будущем вы тщательнее отнесетесь к выбору сотрудников.

— Дмитрий не был сотрудником Академии, — говорит он, Симон. — Он работал смотрителем в музее, этажом ниже. Это музею следует тщательнее относиться к выбору сотрудников.

— Маньяк-убийца — в этом самом здании, — говорит Консуэло. — Меня от одной мысли передегивает.

— Он и правда был маньяком-убийцей. Но и обаятельным тоже был. Дети в Академии его любили. — Он защищает не Дмитрия, а Академию, человека, который настолько ушел в свою музыку, что позволил жене соскользнуть в роковые тенета мелкой сошки. — Дети невинны. Быть невинным значит воспринимать все непосредственно. Открывать свое сердце кому-то, кто тебе улыбается, зовет тебя славным юношей и осыпает сладостями.

Давид произносит:

— Дмитрий говорит, что он ничего не мог с собой поделать. Он говорит, что убить Ану Магдалену его заставила страсть.

Миг застывшего молчания. Морено, нахмурившись, рассматривает незнакомого мальчика.

— Страсть — не оправдание, — говорит Консуэло. — Мы все время от времени ощущаем страсть, но людей из-за нее не убиваем.

— Дмитрий уехал на соляные копи, — говорит Давид. — Он накопает много соли, чтобы расплатиться за убийство Аны Магдалены.

— Ну, тогда мы постараемся не использовать соль Дмитрия на ферме, верно? — Она сурово поглядывает на сестер. — Сколько соли стоит человеческая жизнь? Возможно, об этом стоит спросить этого вашего Метру.

— Метроса, — говорит Морено.

— Простите великодушно — *Метроса*. Симон, вас подбросить?

— Спасибо, не надо, у меня велосипед.

Собрание расходится, Давид берет его за руку и ведет вниз по темной лестнице в садик за музеем. Сеет мелкий дождик. В лунном свете мальчик отпирает калитку и на четвереньках залезает в клеть. Раздается взрыв куриного квохтанья. Он появляется с вырывающимся у него из рук существом — с ягненком.

— Смотри, это Херемия! Он был огромный, я его поднять не мог, а Алеша забыл давать ему молоко, и он теперь уменьшился!

Он гладит ягненка. Тот пытается сосать ему палец.

— Никто в мире не уменьшается, Давид. Если он стал маленьким, это не потому, что Алеша его не кормит, а потому что это не настоящий Херемия. Это новый Херемия, который занял место старого, потому что старый вырос и стал овцой. Людям маленькие Херемии кажутся миленькими, а старые — нет. Никто не хочет тискать старых Херемий. Так уж им не повезло.

— А где тогда старый Херемия? Можно его повидать?

— Старого Херемию отправили на пастбища, к другим овцам. Однажды, когда у нас будет время, съездим поищем его. А сейчас нам пора на лекцию.

На *Calle Hugo* дождь пошел сильнее. Они с мальчиком медлят на пороге и тут слышат хриплый шепот:

— Симон! — Перед ними появляется фигура, обернутая в плащ или одеяло, манит их рукой.

Дмитрий! Мальчик бросается вперед и хватается его за бедра.

— Что вы здесь делаете, Дмитрий? — требует ответа он, Симон.

— Тс-с! — говорит Дмитрий и добавляет отчаянным шепотом: — Нам есть куда уйти?

— Никуда мы не уйдем, — говорит он, не понижая голоса. — Что вы здесь делаете?

Дмитрий, не отвечая, хватается его за руку и тащит через пустую улицу — сила этого человека поражает Симона — к двери табачника.

— Ты сбежал, Дмитрий? — спрашивает мальчик. Он взбудоражен, глаза его сверкают в лунном свете.

— Да, я сбежал, — говорит Дмитрий. — У меня есть незавершенное дело, нужно было сбежать, выбора не оставалось.

— И они гонятся за тобой с ищейками?

— Погода для ищеек скверная, — говорит Дмитрий. — Для их носов слишком сыро. Ищейки все по конурам, ждут, когда дождь закончится.

— Вздор какой, — говорит он, Симон. — Что вам от нас нужно?

— Нам надо поговорить, Симон. Вы всегда были порядочным малым, я всегда чувствовал, что с вами можно разговаривать. Можем пойти к вам? Вы понятия не имеете, каково это — быть без дома, негде голову преклонить. Узнаете пальто? То самое, что вы мне дали. Произвело на меня впечатление — пальто в подарок. Меня гнали повсюду — за то, что я сделал, — а вы мне пальто дали

и постель, где поспать. Только по-настоящему порядочный человек так поступает.

— Я дал вам его, чтобы от вас избавиться. Оставьте нас в покое. Мы торопимся.

— Нет! — говорит мальчик. — Расскажи нам про соляные копи, Дмитрий. Они тебя там правда секут, на копиях?

— Я про соляные копи много чего мог бы рассказать, — говорит Дмитрий, — но с этим потом. У меня на уме кое-что более срочное, а именно — покаяние. Мне нужна ваша помощь, Симон. Я ни разу не каялся, между прочим. А теперь хочу.

— Я думал, вам для этого соляные копи и нужны, — это место покаяния. Что вы делаете здесь, когда должны быть там?

— Все не так просто, Симон. Я могу объяснить, но это займет время. Необходимо ли нам торчать здесь, на холоде и мокроте?

— Меня не волнует вообще, холодно ли вам, мокро ли. Нам с Давидом надо на собрание. Когда я видел вас в последний раз, вы сказали, что собираетесь в копи, отдаться наказанию. Вы вообще в соляных копиях были? Или это очередная ложь?

— Когда я от вас отбыл, Симон, я полностью собирался отправиться на соляные копи. Так велело мне сердце. «Прими наказание как мужчина», — сказала мое сердце. Но проистекли другие обстоятельства. «Проистекли» — хорошее слово. Другие обстоятельства заставили обратить на себя внимание. И поэтому нет. Я на самом деле на соляных копиях не был — пока. Прости,

Давид. Я тебя подвел. Я сказал тебе, что поеду, а сам не поехал... Правда вот в чем: я угрюмствовал, Симон. Темное для меня было время — угрюмствовать над своей судьбою. Я с потрясением обнаружил, что нет во мне на самом-то деле того, чтоб принять положенное мне, а именно — срок в соляных копиях. Потрясение. Замешано мое мужество. Будь я мужчиной, настоящим мужчиной, я бы отправился, сомнений никаких. Но я не был мужчиной, как выяснилось. Недотянул до мужчины. Я был трус. Вот с чем пришлось мне столкнуться. Убийца, а сверх этого еще и трус. Можно ль винить меня, что я расстроился?

С него, Симона, довольно.

— Пойдем, Давид, — говорит он. И затем, Дмитрию: — Предупреждаю: я собираюсь звонить в полицию.

Он почти ожидает от мальчика протеста. Но нет: глянув на Дмитрия, мальчик идет за ним.

— На воре шапка горит, — кричит Дмитрий им вслед. — Я видел, как ты смотрел на Ану Магдалену, Симон! Ты тоже ее вождеделел, да только мужчины в тебе мало для нее!

Посреди залитой дождем улицы, утомленный, он оборачивается и встречает тираду Дмитрия.

— Давай! Звони в свою драгоценную полицию! И ты туда же, Давид: я о тебе думал лучше, вот правда. Я думал, ты стойкий солдатик. Но нет, оказывается, ты у них под пятой — у этой холодной суки Инес и этого бумажного человека. Они тебя будут мамкать и папкать, пока от тебя

ничего не останется, кроме тени. Иди! Делай что хочешь!

Словно напитавшись силой от их молчания, Дмитрий выскакивает из-под навеса у лавки и, держа пальто высоко над головой, словно парус, шагает обратно к Академии.

— Что он собирается делать, Симон? — шепчет мальчик. — Убивать сеньора Арройо?

— Понятия не имею. Человек безумен. К счастью, в доме никого нет, все ушли в Институт.

Глава 22

Хоть он и жмет на педали изо всех сил, приезжают они на лекцию с опозданием. Стараясь не шуметь, они с мальчиком усаживаются, промокшие, в заднем ряду.

— Темная фигура — Метрос, — говорит Морено. — И, как его собрат Прометей, вестник огня, — возможно, единственная мифическая фигура. Тем не менее появление Метроса отмечает поворотную точку в человеческой истории: миг, когда мы все вместе отказались от старого способа понимания мира — бездумного, животного способа, когда мы оставили как бесплодное стремление постигать вещи в себе и начали рассматривать мир через мерности его. Сосредоточив взгляд на переменмах в метронах, мы сделали возможным для себя открывать новые законы — законы, которым обязаны подчиняться даже небесные тела.

То же и на Земле, где в духе новой метрической науки мы измерили человечество и, обнаружив, что все люди равны, заключили, что люди должны равно подпадать под закон. Никаких больше рабов, никаких царей, никаких исключений.

Был ли Метрос мерщиком дурного человека? Виновен ли он и его наследники в отмене дей-

ствительности и замещении ее симулякром, как заявляют некоторые критики? Не лучше б нам было, не родись Метрос вообще? Оглядываясь по сторонам, глядя на этот великолепный Институт, разработанный архитекторами и построенный инженерами, воспитанными в мерностях статистики и динамики, такого взгляда придерживаться трудно.

Спасибо за внимание.

Аплодисменты публики, которая почти целиком заполняет зал, громки и продолжительны. Морено шелестит бумагами, собирает свои записи и спускается с трибуны. Арройо берет микрофон.

— Спасибо, Хавьер, за поразительный и блистательный обзор Метроса и его наследия, обзор, который ты предложил нам очень кстати — в канун переписи населения, происходящей раз в десять лет, этой оргии измерения... С твоего позволения, кратко отвечу. Вслед за моим ответом мы начнем дебаты.

Он подает знак. Мальчики Арройо встают со своих мест в первом ряду, снимают верхнюю одежду и, облаченные в трико и золотые бальные туфли, выходят к отцу на сцену.

— Город Эстрелла знает меня как музыканта и директора Академии Танца — академии, где между танцем и музыкой не усматривают различий. Почему не усматривают? Потому что, по нашему мнению, музыка и танец вместе, музыка-танец — отдельный способ постижения Вселенной, человеческий способ — но также и животный: способ, главенствовавший до прихода Метроса.

Как не различаем мы в Академии музыку и танец, не различаем мы ум и тело. Учения Метроса составили новую, умственную науку, а знание, которое они воплотили, было новым, умственным знанием. Старейший способ постижения происходит от тела и ума, движущихся вместе, тела-ума, в ритме музыки-танца. В этом танце всплывают старые воспоминания, древние воспоминания, знание, которое мы утратили, странствуя через океаны.

Пусть и зовемся Академией, мы — не академия седобородых. Наши члены — дети, в которых эти древние воспоминания, воспоминания о предыдущем бытии, вовсе не погасли. Поэтому я попросил этих двух юношей, моих сыновей Хоакина и Дамиана, учеников Академии, выйти ко мне на сцену.

Учения Метроса основаны на числах, однако Метрос чисел не изобретал. Числа существовали, до того как Метрос родился, до того как возникло человечество. Метрос их всего лишь использовал, включил их в свою систему. Моя покойная жена именовала числа, что оказались в руках Метроса, муравьиными: они беспрестанно совокупаются, беспрестанно делятся и умножаются. Посредством танца она возвращала своих учеников к истинным числам, что вечны, незримы и несчетны.

Я — музыкант, мне трудно с выстраиванием доводов, как, возможно, вы уже поняли. Чтобы показать вам, каким был мир до прибытия Метроса, я умолкну, а Хоакин и Дамиан покажут вам пару танцев: танец Двух и танец Трех. Затем исполнят более трудный танец — Пяти.

Он подает знак. Одновременно, контрапунктом, каждый со своего края сцены, мальчики начинают танец Двух и Трех. Они танцуют, и смятение у него, Симона, в груди, пробужденное стычкой с Дмитрием, затихает: он в силах теперь расслабиться и получать удовольствие от их легких, текучих движений. Хотя философия танца Арройо для него по-прежнему невнятна, он начинает понимать, предельно смутно, почему один танец применим к Двум, а второй — к Трем, и потому догадываться, предельно смутно, что Арройо имеет в виду под танцем чисел, призывом чисел низойти.

Танцоры завершают движения одновременно, в такт, посреди сцены. На миг они замирают, а затем, по знаку отца, аккомпанирующего им на флейте, вместе начинают танец Пяти.

Он немедленно понимает, почему Арройо сказал, что Пять — трудный танец: трудный для танцоров, но трудный и для зрителей. От Двух и Трех он ощущал, как в теле некая сила — прилив крови, или как там еще это можно назвать — движется вместе с телами мальчиков. Однако Пять такого ощущения не сообщает. В танце есть рисунок — который он наконец способен постичь, — но его тело слишком бестолково, слишком тупо и потому не находит его и не следует ему.

Он поглядывает на Давида рядом. Давид хмурится, губы бессловесно шевелятся.

— Что такое? — шепчет он. — Они неправильно танцуют?

Мальчик раздраженно мотает головой.

Танец Пяти подходит к концу. Мальчики Арройо, стоя рядом, смотрят в зал. Звучит вежливый, но растерянный всплеск аплодисментов. В этот миг Давид вскакивает со своего места и несетя по проходу. Он, Симон, ошарашенно встает и идет за ним, но не пустить его на сцену не успевает.

— Что случилось, юноша? — спрашивает Арройо, нахмурившись.

— Моя очередь, — говорит мальчик. — Я хочу станцевать Семь.

— Не сейчас. Не здесь. Это не концерт. Сядь.

Посреди бормотания аудитории он, Симон, взбирается на сцену.

— Пойдем, Давид, ты всех расстраиваешь.

Мальчик решительно вырывается.

— Моя очередь!

— Хорошо, — говорит Арройо. — Танцуй Семь. Когда закончишь, я надеюсь, пойдешь и тихо сядешь. Согласен?

Мальчик без единого слова сбрасывает ботинки. Хоакин и Дамиан уступают место, он молча начинает танец. Арройо смотрит, прищурившись от сосредоточенности, а затем подносит флейту к губам. Мелодия, которую он играет, правильная, верна и точна¹, однако он, Симон, слышит, что ведет танцор, а наставник следует за ним. Из каких-то погребенных воспоминаний возникают слова «столп милости», его это застаёт врасплох, ибо образ, за который он, Симон, держится, — с

¹ Отсылка к Книге притчей Соломоновых, 2:9.

футбольного поля: образ мальчика как плотного сгустка энергии. Но сейчас, на сцене Института, себя являет наследие Аны Магдалены. Словно Земля утратила силу тяготения, мальчик отряс с себя весь телесный вес и стал чистым светом. Логика танца бежит его, Симона, совершенно, но он знает, что перед ним вершится нечто чрезвычайное, а по тишине в зале догадывается, что чрезвычайным это кажется и людям Эстреллы.

Числа целостны и бесполо, говорила Ана Магдалена, их способы любить и сопрягаться — за пределами нашего понимания. А потому их способны призывать лишь бесполое существа. Что ж, существо, танцующее перед ними, ни ребенок, ни мужчина, ни мальчик, ни девочка; он даже сказал бы, ни тело, ни дух. Веки сомкнуты, рот открыт, восторженно, Давид плывет из движения в движение с таким текучим изяществом, что замирает время. Завороженный настолько, что забывает дышать, он, Симон шепчет себе: «Запомни это! Даже если в будущем усомнишься в нем — запомни это!»

Танец Семи прекращается так же внезапно, как начался. Умолкает флейта. Грудь ходит ходуном, мальчик смотрит на Арройо.

— Хотите, станцюю Одиннадцать?

— Не сейчас, — рассеянно говорит Арройо.

Из глубины зала долетает крик, рикошетит по всей аудитории. Сам крик не разобрать — «Браво»? «Славо»? — но голос знакомый: Дмитрия. Перестанет ли он когда-нибудь их преследовать?

Арройо встряхивается.

— Пора вернуться к предмету нашей лекции, к Метросу и его наследию, — объявляет он. — Есть ли вопросы, которые вы хотели бы задать сеньору Морено?

Встает пожилой господин.

— Если потехи детей завершились, маэстро, у меня два вопроса. Во-первых, сеньор Морено, вы сказали, что, как наследники Метроса, мы измерили себя и обнаружили, что равны. Равенство, сказали вы, приводит к равенству перед законом. Никаких царей, никаких сверхлюдей, никаких исключительных существ. Но — перехожу к первому вопросу — действительно ли хорошо, что длань закона не допускает исключений? Если закон применяется без исключения, какое место отводится милосердию?

Морено выступает вперед и восходит на трибуну.

— Превосходный вопрос, глубокий вопрос, — отвечает он. — Оставляет ли закон место для милосердия? Ответ, данный нашими законодателями: да, место для милосердия быть должно или — говоря в более конкретных понятиях — для смягчения приговора, *но лишь когда оно заслуженно*. У преступника долг перед обществом. Прощение этого долга должно быть заслужено трудом покаяния. Так сохраняется главенство мерности: вещество покаяния преступника должно, так сказать, быть взвешено, и соответствующая масса вычтена из его приговора. У вас был и второй вопрос.

Говорящий озирается.

— Буду краток. Вы ничего не сказали о деньгах. Между тем как универсальное мерило ценно-

сти деньги, несомненно, — главное наследие Метроса. Где бы мы были без денег?

Прежде чем Морено успевает ответить, на сцену в одно движение взбирается Дмитрий — простоволосый, облаченный в его, Симона, пальто, — при этом вопя:

— Хватит, хватит, хватит!.. Хуан Себастьян, — орет он — нужды в микрофоне никакой, — я пришел сюда молить о вашем прощении. — Он поворачивается к залу. — Да, я прошу прощения этого человека. Я знаю, вы заняты другими материями, важными материями, но вот он я, Дмитрий, Дмитрий-изгой, у Дмитрия нет стыда, он по ту сторону стыда, как и многого чего еще он по ту сторону. — Вновь поворачивается к Арройо. — Я должен сказать вам, Хуан Себастьян, — продолжает он без паузы, словно речь эту давно репетировал, — темное время переживаю я нынче. Даже думал покончить с собой. Почему? Потому что я постепенно осознал — и горькое же это осознание, — что никогда не освобожусь, пока с моих плеч не снимут бремя вины.

Если Арройо и смущен, виду никак не показывает. На Дмитрия он смотрит, расправив плечи.

— Где искать мне облегчения? — требует ответа Дмитрий. — У закона? Вы слышали, что этот человек сказал о законе. Закон не берет в расчет состояние души человека. Он лишь составляет уравнение, подгоняет приговор к преступлению. Возьмем случай Аны Магдалены, вашей жены, чья жизнь была прервана похода. Что дает право чужаку, человеку, который в глаза ее не видел, на-

тягивать пурпурную мантию и говорить: «Пожизненное заключение — вот цена ее жизни»? Или: «Двадцать пять лет в соляных копиях»? Бессмыслица! Есть преступления неизмеримые! Они вне шкал!.. Да и что дадут они — эти двадцать пять лет в соляных копиях? Внешняя пытка, вот и все. А обращает ли внешняя пытка пытку внутреннюю в нуль, как плюс и минус? Нет. Внутренняя пытка продолжается.

Ни с того ни с сего он падает перед Арройо на колени.

— Я виновен, Хуан Себастьян. Вы знаете это, и я это знаю. Я никогда и не мнил иначе. Я виновен и нуждаюсь безмерно в вашем прощении. Лишь обретя ваше прощение, я исцелюсь. Наложите руку на голову мне. Скажите: «Дмитрий, ты сотворил ужасное, но я тебя прощаю». Скажите.

Арройо молчит, черты его застыли в отвращении.

— Содеянное мною скверно, Хуан Себастьян. Я не отрицаю этого и не хочу, чтобы это забыли. Пусть всегда будет памятно, что Дмитрий сотворил скверное, ужасное. Но это, конечно же, не означает, что меня нужно проклясть и изгнать во внешнюю тьму. Конечно же, можно распространить на меня немножко милосердия. Конечно же, кто-то сможет сказать: «Дмитрий? Помню Дмитрия. Он сотворил дурное, но в сердце своем не был дурным малым, старик Дмитрий». Этого мне хватит — одной этой капли спасительной воды. Не отмыть меня, а просто признать меня человеком, сказать: «Он все еще наш, он все еще один из нас».

В задних рядах суматоха. Двое полицейских в форме решительно шагают по проходу к сцене.

Вскинув руки над головой, Дмитрий поднимается на ноги.

— Так вот, значит, каков ваш ответ мне, — кричит он. — «Заберите его и закройте его, этот мятежный дух». Кто за это ответственен? Кто вызвал полицию? Это ты там таишься, Симон? Покажись! После всего, что я пережил, ты думаешь, тюремная камера пугает меня? Ничего ты не сделаешь такого, что сравнится с тем, что могу с собой сделать я сам. Я, по-твоему, похож на счастливого человека? Нет. Я похож на человека, погрязшего в недрах несчастья, потому что там я и есть, день и ночь. И лишь вы, Хуан Себастьян, можете выгнать меня из глубокого колодца моего несчастья, потому что вас я обидел.

Полицейские останавливаются у сцены. Это молодые люди, едва ли не мальчишки, и в сиянии рампы они внезапно не уверены в себе.

— Я обидел вас, Хуан Себастьян, обидел глубоко. Зачем я это сделал? Понятия не имею. Не только понятия я не имею, зачем я это сделал, — у меня в голове не умещается, что я сделал это. Такова правда, неприкрытая правда, клянусь. Это непостижимо — непостижимо снаружи, непостижимо и изнутри. Не смотри мне факты в лицо, я бы поддался искушению судьбы — помните судьбу на слушаниях? — нет, конечно, вас там не было, — я бы поддался искушению сказать: «Это не я сделал, а кто-то другой». Но это, конечно, неправда. Я не шизофреник, и не гебефреник,

и не все прочее, кто, по их словам, я, может, есть. Я не отлучен от действительности. Ноги мои на земле — и всегда там были. Нет: это я. Это я. Загадка — и в то же время не загадка. Загадка, которая не загадка. Как получилось, что я сотворил деяние — я, не кто-нибудь? Помогите мне ответить на этот вопрос, Хуан Себастьян, а? Кто мне поможет?

Ясное дело, этот человек — фальшивка до мозга костей. Ясное дело, раскаяние его поддельное, так он пытается избежать соляных копеек. Тем не менее он, Симон, пытается представить, как этот человек, который каждый день ходил в киоск на площади, чтобы набить карманы леденцами для детей, смог сомкнуть руки на алебастровом горле Аны Магдалены и раздавить в ней жизнь, — но воображение его подводит. Подводит — либо содрогается от ужаса. То, что этот человек сделал, может, и не подлинная загадка, но загадка все равно.

Из глубины сцены звенит мальчишеский голос.

— Почему ты не спросишь меня? Всех спрашиваешь, а меня — никогда!

— И то верно, — говорит Дмитрий. — Виноват, тебя тоже надо было спросить. Скажи мне, мой милый юный танцор, что мне с собой делать?

Собираясь с духом, молодые полицейские решаются взойти на сцену. Арройо машет им, чтоб остановились.

— Нет! — кричит мальчик. — Ты должен *по-настоящему* меня спросить!

— Хорошо, — говорит Дмитрий, — спрошу по-настоящему. — Он опускается на колени,

сцепляет руки, сосредоточивается лицом. — Давид, прошу тебя, скажи мне... Нет, не годится, не могу. Ты слишком юн, мой мальчик. Тебе надо вырасти, чтобы понимать любовь, смерть и все подобное.

— Ты всегда так говоришь, Симон всегда так говорит: «Ты не понимаешь, ты еще слишком юн». Я могу понять! Спроси меня, Дмитрий! *Спроси меня!*

Дмитрий повторяет этот свой цирк — сцепляет и сцепляет руки, закрывает глаза, разглаживает лицо.

— *Дмитрий, спроси меня!* — Теперь уж мальчик орет, надсаживаясь.

В публике шевеленье. Люди встают и уходят. Он перехватывает взгляд Мерседес, сидящей в первом ряду. Она вскидывает ладонь, этот жест ему непонятен. Три сестры рядом с ней — с каменными лицами.

Он, Симон, подает знак полицейским.

— Хватит, Дмитрий. Хватит паясничать. Тебе пора.

Пока один полицейский держит Дмитрия, второй надевает на него наручники.

— Что ж, — говорит Дмитрий обычным голосом. — Обратно в дурдом. Назад в мою одинокую камеру. Чего ж ты не скажешь своему малышу, Симон, что у тебя на уме, глубоко? Твой отец, или дядя, или как он там еще себя называет, слишком деликатен, чтобы тебе сказать, юный Давид, но втайне он надеется, что я перережу себе глотку и спущу всю свою кровь в канализацию. И тогда

устроят дознание и заключат, что трагедия произошла, когда равновесие ума у покойного поколебалось, и таков будет конец Дмитрия. Можно закрыть его дело. Так вот я тебе скажу: не буду я с собой кончать. Я собираюсь продолжать жить — и донимать вас, Хуан Себастьян, пока не сдадитесь. — Он неловко пытается простереться вновь, держа скованные руки над головой. — Простите меня, Хуан Себастьян, простите меня!

— Уведите его, — говорит он, Симон.

— Нет! — орет мальчик. Лицо его пылает, он часто дышит. Скидывает руку, тычет пальцем в сторону Дмитрия. — Ты должен вернуть ее, Дмитрий! *Верни ее!*

Дмитрий кое-как садится, трет небритый подбородок.

— Кого вернуть, юный Давид?

— Сам знаешь! Ты должен вернуть Ану Магдалену!

Дмитрий вздыхает.

— Я б хотел, приятель, я б хотел. Поверь, если б Ана Магдалена вдруг появилась перед нами, я бы склонился к ногам ее и омыл их слезами радости. Но она не вернется. Ее больше нет. Она принадлежит прошлому, а прошлое навсегда позади. Таков закон природы. Даже звезды не могут плыть против течения времени.

Все время, пока Дмитрий произносит свою речь, мальчик держит руку высоко, словно тем самым настаивая на силе своего приказа, но ему, Симону, ясно, а может, ясно и Дмитрию, что мальчик колеблется. Слезы стоят у него в глазах.

— Пора, — говорит Дмитрий. Он дает полицейским поднять себя на ноги. — Назад, к врачам. «Зачем вы это сделали, Дмитрий? Зачем? Зачем? Зачем?» Но, может, и нет никакого «зачем». Может, это все равно что спрашивать у курицы, почему она курица или почему есть Вселенная, а не громадная великая дыра в небе. Все так, как есть. Не плачь, мой мальчик. Потерпи, дождись следующей жизни и вновь увидишь Ану Магдалену. Держись за эту мысль.

— Я не плачу, — говорит мальчик.

— Плачешь. Ничего нет плохого в том, чтоб хорошенько поплакать. Это прочищает организм.

Глава 23

Забрезжил день переписи — и день показа в «Модас Модернас». Мальчик просыпается вялым, насупленным, без аппетита. Может, приболел? Он, Симон, щупает ему лоб, но лоб холодный.

— Ты видел вчера Семь? — спрашивает мальчик.

— Конечно. Я от тебя глаз не мог отвести. Ты прекрасно танцевал. Все так считают.

— Но ты видел Семь?

— В смысле, число семь? Нет. Я не вижу чисел. Такая у меня немощь. Я вижу лишь то, что у меня перед глазами. Сам знаешь.

— Что будем сегодня делать?

— После вчерашних волнений, думаю, нам лучше провести тихий день. Я бы предложил заглянуть к Инес на показ мод, но господам вряд ли там будут рады. А можем пойти за Боливаром, если хочешь, взять его на прогулку — главное, убраться с улицы до шести. Из-за комендантского часа.

Он ожидает цепочку «почему?», но мальчик не выказывает к комендантскому часу никакого интереса. «Где сейчас Дмитрий?» — этот вопрос тоже не возникает. В последний ли раз они ви-

дела Дмитрия? Можно ли начать забвение Дмитрия? Он, Симон, уповает на это.

Складывается так, что переписчики стучат в дверь почты в полночь. Он относит полусонного, хныкающего мальчика, завернутого в одеяло, в шкаф.

— Ни звука, — шепчет он. — Это важно. Ни звука.

Переписчики, молодая пара, извиняются за поздний приход.

— Мы с этой частью города не знакомы, — говорит женщина. — Прямо лабиринт кривых улиц и переулков! — Он предлагает им чай, но они спешат. — У нас еще длинный список адресов, — говорит она. — Всю ночь на ногах будем.

Времени перепись не занимает нисколько. Он уже заполнил анкету. «Количество членов семьи: «ОДИН»», — пишет он. — «Семейное положение: «ХОЛОСТ»».

Когда они уходят, он освобождает мальчика из заключения и возвращает его в постель, крепко спящего.

Утром они пешком приходят к Инес. Она и Диего накрывают завтрак, Инес бодра и жизнерадостна, какой он, Симон, ее не видел никогда, щебечет о показе, который — по всеобщему согласию — состоялся очень успешно. Дамы в Эстрелле набежали посмотреть новые весенние модели. Глубокие вырезы, высокие талии, простая опора на черное и белое вызвали всеобщее одобрение. Предварительные продажи превосходят все ожидания.

Мальчик слушает с остекленевшими глазами.

— Пей молоко, — говорит ему Инес. — От молока будут крепкие кости.

— Симон запер меня в шкафу, — говорит он. — Я не мог дышать.

— Только пока у нас были переписчики, — говорит он. — Милая молодая пара, очень любезные. Давид вел себя тихо, как мышка. Они увидели всего лишь одинокого холостяка, поднятого с постели. За пять минут все сделали. Никто от удущья за пять минут не умирает.

— Здесь то же самое, — говорит Инес. — Пришли-ушли за пять минут. Никаких вопросов.

— Итак, Давид остается невидимым, — говорит он, Симон. — Поздравляю, Давид. Ты опять улизнул.

— До следующей переписи, — говорит Диего.

— До следующей переписи, — соглашается он, Симон.

— Столько миллионов душ надо пересчитать, — говорит Диего, — какая разница, если одной недосчитаются?

— Действительно, какая разница, — откликается он, Симон.

— Я правда невидимый? — спрашивает мальчик.

— У тебя нет имени, у тебя нет номера. Этого достаточно, чтоб быть невидимым. Но не волнуйся, мы тебя видим. Любой обычный человек с глазами на голове может тебя видеть.

— Я не волнуюсь, — говорит мальчик.

Звонят в дверь: молодой человек принес письмо, разгоряченный, раскрасневшийся от долгой поездки. Инес приглашает его войти, предлагает ему стакан воды.

Письмо, адресованное Инес и Симону, — от Альмы, третьей сестры. Инес читает его вслух:

— «После того как вернулись из Института, мы с сестрами проговорили до поздней ночи. Разумеется, никто не мог предвидеть, что Дмитрий эдак ворвется. Тем не менее нас покорило, как все сложилось. Это большая промашка со стороны сеньора Арройо — приглашать на сцену детей. О его здравомыслии это хорошего не сообщает.

Мы с сестрами глубоко чтим сеньора Арройо как музыканта, но вместе с тем считаем, что нам пора отстраниться от Академии и окружения, которое он вокруг себя собрал. Я поэтому пишу сообщить вам, что, если Давид вернется в Академию, мы оплачивать его обучение не будем».

Инес прерывается.

— Это о чем? — говорит она. — Что случилось в Институте?

— Долгая история. Сеньор Морено, гость, в честь которого устраивали прием, читал лекцию в Институте, а мы с Давидом ее посетили. После лекции сеньор Арройо пригласил своих сыновей на сцену, чтобы они показали один из их танцев. То был своего рода художественный ответ лектору, но обстоятельства стали ему неподвластны, и воцарился хаос. Я тебе как-нибудь потом расскажу подробности.

— Пришел Дмитрий, — говорит мальчик. — Накричал на Симона. На всех накричал.

— Опять Дмитрий! — говорит Инес. — Мы когда-нибудь отделаемся от этого человека? — Она возвращается к письму. — «Как бездетные старые

девы, — пишет Альма, — мы с сестрами едва ли годимся в советчики в том, как растить детей. Тем не менее Давид кажется нам излишне избалованным. Ему пошло бы на пользу, по нашему мнению, если бы его природный боевой дух иногда укрощали... Позвольте добавить пару слов от меня лично. Давид — ребенок исключительный. Я буду вспоминать его с нежностью, даже если больше никогда с ним не увижусь. Передайте ему от меня привет. Скажите, что мне понравился его танец. Ваша Альма».

Инес складывает письмо и подсовывает его под банку с вареньем.

— Что это значит — что я излишне избалован? — спрашивает мальчик.

— Не твое дело, — говорит Инес.

— Они заберут марионеток?

— Конечно, нет. Они твои, насовсем.

Долгое молчание.

— Что теперь? — говорит он, Симон.

— Поищем преподавателя, — говорит Инес. — Как я с самого начала и предлагала. Кого-нибудь с опытом. Того, кто не станет мириться ни с какой чепухой.

Дверь в Академию открывает не Алеша, а Мерседес, вновь с клюкой.

— Добрый день, — говорит он. — Не будете ли любезны сообщить маэстро, что новый помощник явился на службу.

— Заходите, — говорит Мерседес. — Маэстро заперся, как обычно. На какую это службу вы явились?

— Убираться. Таскать. Все, что требуется делать. Я с сегодняшнего дня разнорабочий Академии: порученец, на побегушках.

— Если вы серьезно, тогда не помешало бы отмыть пол в кухне. И в туалетах. Почему вы предлагаете себя? Денег, чтоб платить вам, нет.

— Мы договорились с Хуаном Себастьяном. Деньги в это соглашение не входят.

— Для человека, который не танцует, вы, похоже, необычайно преданны Хуану Себастьяну и его Академии. Означает ли это, что ваш сын возвращается?

— Нет. Его мать против. Его мать считает, что у Хуана Себастьяна он от рук отбился.

— Что недалеко от истины.

— Что недалеко от истины. Его мать думает, что пора ему начать нормальное обучение.

— А вы? Как вы думаете?

— Я не думаю, Мерседес. В нашей семье я — бестолочь, слепой, нетанцующий. Ведет Инес. Ведет Давид. Ведет собака. Я спотыкаюсь следом, надеясь, что в один прекрасный день у меня откроются глаза и я стану частью мира, каков он есть, включая и числа во всей их славе, Два, Три и все прочие. Вы предложили мне урок танца, я отклонил. Можно мне передумать?

— Поздно. Я сегодня уезжаю. Поездом в Новиллу. Нужно было хватать, пока давали. Если вам нужен урок, отчего б не попросить сына?

— Давид считает, что я необучаем, неспасаем. У вас не найдется времени и на один урок? На краткое обучение таинствам танца?

— Посмотрим, что можно сделать. Приходите после обеда. Я поговорю с Алешей, попрошу для нас поиграть. А пока придумайте что-нибудь с обувью. В сапогах танцевать не получится: Я ничего не обещаю, Симон. Я не Ана Магдалена, не адепт *el sistema Arroyo*. Никаких видений вы со мной не узрите.

— Ну и ладно. Видения придут, когда придут. Или нет.

Он без труда находит обувной магазин. Его обслуживает тот же продавец, что и прежде, — высокий грустноликий мужчина с длинными усами.

— Бальные туфли для вас, сеньор? — Он качает головой. — У нас нет — вашего размера. Не знаю, что и посоветовать. Если нет у нас, значит, нет ни в одном магазине в Эстрелле.

— Покажите самый большой, какой есть.

— Самый большой — тридцать шестой, и это дамский размер.

— Покажите. Золотые.

— К сожалению, тридцать шестой — только серебряные.

— Тогда серебряные.

Разумеется, на его стопу тридцать шестой не налезает.

— Беру, — говорит он и отдает пятьдесят девять реалов.

Вернувшись к себе, он срезает мыски туфель бритвой, засовывает ноги в туфли, шнурует. Мысы непристойно торчат наружу. Сойдет, говорит он себе.

Увидев его туфли, Мерседес хохочет вслух.

— Где вы достали эти клоунские туфли? Снимайте. Лучше уж танцуйте босым.

— Нет. Я заплатил за клоунские туфли и останусь в них.

— Хуан Себастьян! — зовет Мерседес. — Иди сюда, погляди!

Арройо забредает в студию, кивает ему. Если и замечает туфли, если и находит их потешными, не подает виду. Усаживается за пианино.

— Я думал, нам Алеша подыграет, — говорит он, Симон.

— Алеши нигде нет, — говорит Мерседес. — Не волнуйтесь, Хуана Себастьяна не унижит, если он сыграет для вас, он каждый день играет для детей. — Она отставляет в сторону клюку, занимает позицию позади него, берет его за плечи. — Закрывайте глаза. Будем раскачиваться из стороны в сторону, вес сначала на левой ноге, потом на правой, туда-сюда, туда-сюда. Вообразите, если нужно, что позади вас, двигаясь с вами во времени, некая недостижимая прекрасная юная богиня, а не уродливая старуха Мерседес.

Он подчиняется. Арройо начинает играть: простая мелодия, детская мелодия. Он, Симон, не так устойчив на ногах, как думал, — возможно, потому что ничего не ел. Тем не менее он раскачивается туда-сюда в такт музыке.

— Хорошо. Теперь сместите правую ногу вперед, короткий шаг, и назад, а затем левую ногу — вперед и назад. Хорошо. Повторяйте движение, правая вперед-назад, левая вперед-назад, пока я вам не велю остановиться.

Он подчиняется, время от времени спотыкаясь в туфлях со странными мягкими подошвами. Арройо перекраивает мелодию, варьирует, развивает: ритм не меняется, однако маленькая ария начинает выказывать новое устройство, такт за тактом, словно кристалл, растущий в воздухе. Его омывает блаженством, хочется сесть и прислушаться хорошенько.

— Сейчас я вас отпущу, Симон. Вы поднимете руки, для равновесия, и продолжите правой-и-назад, левой-и-назад, но каждый шаг будете поворачиваться на четверть круга.

Делает, как велели.

— Долго еще мне так? — говорит он. — У меня голова кружится.

— Продолжайте. Головокружение пройдет.

Он подчиняется. В студии прохладно, он осознает пространство высоты над головой. Мерседес отступает, остается лишь музыка. Руки раскинуты, веки сомкнуты, он медленно шаркает по кругу. Над горизонтом начинает подыматься первая звезда.

Оглавление

| | |
|----------------|-----|
| Глава 1 | 7 |
| Глава 2 | 21 |
| Глава 3 | 31 |
| Глава 4 | 45 |
| Глава 5 | 55 |
| Глава 6 | 69 |
| Глава 7 | 81 |
| Глава 8 | 97 |
| Глава 9 | 111 |
| Глава 10 | 124 |
| Глава 11 | 142 |
| Глава 12 | 158 |
| Глава 13 | 171 |
| Глава 14 | 193 |
| Глава 15 | 212 |
| Глава 16 | 225 |
| Глава 17 | 239 |
| Глава 18 | 248 |
| Глава 19 | 263 |
| Глава 20 | 272 |
| Глава 21 | 280 |
| Глава 22 | 295 |
| Глава 23 | 309 |

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

**ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО.
КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ**

Дж. М. Кутзее

ШКОЛЬНЫЕ ДНИ ИИСУСА

Ответственный редактор *А. Зальнова*
Литературный редактор *М. Немцов*
Младший редактор *Е. Долматова*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Г. Романова*
Компьютерная верстка *Г. Сенина*
Корректор *И. Федорова*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 17.03.2017. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 4000 экз. Заказ 2781.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж
International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса:

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 44 А. Тел.: (863) 303-62-10.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

Полный ассортимент продукции Издательства «Э»

можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».

Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.

Звонок по России бесплатный.

ISBN 978-5-699-95969-3



9 785699 959693 >



Джон Максвелл Кутзее — первый писатель, который дважды был награжден Букеровской премией — в 1983 году за роман «Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 году за роман «Бесчестье». В 2003 году Кутзее удостоился Нобелевской премии по литературе. «Описывая слабости и недостатки людей, писатель обнаруживает божественную искру в человеческом существе», — говорилось в заявлении Шведской академии.

В 2013 году Кутзее создал «Детство Иисуса» — полную символов, зашифрованных смыслов аллегорическую сказку о детстве. Роман наделал немало шума, и виной тому вовсе не смелое заглавие. Книга-игра, книга-ребус, книга-наваждение поставила в тупик не только читателей, но и критиков. Что же на самом деле хотел сказать автор? Теперь можно ответить на этот вопрос с большей определенностью, ведь Кутзее написал продолжение этой истории.

В «Школьных днях Иисуса» речь пойдет о мальчике Давиде, собирающемся в школу. Он учится общаться с другими людьми, ищет свое место в этом мире. Писатель показывает проблемы взросления: что значит быть человеком, от чего нужно защищаться, что важнее — разум или чувства? Но роман Кутзее не пособие по воспитанию — он зашифровывает в простых житейских ситуациях целый мир. Мир, в котором должен появиться спаситель. Вот только от кого или чего нужно спасаться?

ISBN 978-5-699-95969-3



9 785699 959693 >

